

И. ХАИМОВА



Забутые повести



"ДЖОЙНТ"  ג'וֹיִנֵּט

Инна Хаимова

Забутые повести



Solus

Инна Хаимова
Забутые повести

*Книга выпущена в издательстве "Солус" при
участии Фонда Анопропус
при Министерстве Абсорбции.*

הספר הוצא לאור ביסולוס" בעזרת קרן אפולוולוס
ויד משרד הקליטה.

©1993 All rights reserved for author and "Solus" publ.

Design: "Solus", tel. 370757, Jerusalem
Cover: O. Kundina.

Printed in Israel
1993

Содержание

Бесхарактерная.....	5
Виолетта.....	11
Верка-дурочка.....	79
Кикимора.....	117

Бесхарактерная

Сначала ветер скулил. Еще недавно он поднимал ворох снежинок до фонарей, и они сверкая кружились в неистовом танце.

Но снега не было.

Тополь с приторно-сладким запахом ладана во время цветения покачивал красновато-грязными сережками. Ветер улетал, унося частицу тополиного сердца, распушив ее белым ковром по земле

Осенью тополю подрезали ветви. Теперь он стоял, как инвалид. Скулеж ветра превращался в злобное ворчание: у него было настроение хорошо выпившего человека, когда необходимо раскрыть душу, хочется доброты, внимания. Ветер заползал в оконные щели, шевеля шторы, на цыпочках прогуливался по комнате.

Она сидела с книгой, открытой на одной странице. Взгляд блуждал по стене, потолку. Ей было лень вставать. Знобило. И подумала она, что неплохо было бы выпить, согреться. Подумав о

выпивке, вспомнила соседа, который не раз составлял ей компанию. Представила, как дед опять начнет учить ее уму-разуму, будет говорить, что она дура, что мужик нонче в цене, а лет ей слава богу тридцать и пора иметь семью.

Мужиков у нее хватает, но нужен ей мужчина, чтоб от одного прикосновения его кружилась голова. Затаенная улыбка пробежала по лицу. Наверно, такая вот улыбка была у нее и тогда, несколько лет назад.

Она пришла на работу. Радостная и светящаяся. Недоумевали, ведь не видели ее еще такой. Спросили: что с ней. Не думая ответила: "Я счастлива — я стала женщиной." Ничего не сказали, только мужики стали присматриваться.

Была бы жива бабка. Но бабка умерла, когда Любе исполнилось пятнадцать лет. Интересно, были ли у бабки другие мужчины? Знала Люба, что прожила та с дедом недолго — умер от чахотки. Вот и сейчас ей бабка нужна больше, чем мать.

— Бесхарактерная у тебя мать, — говорила бабка, — связалась с прохвостом, тебя родила, надо было замуж выходить.

И помнила Люба только, что мать умерла, любя этого прохвоста.

Отца Люба не знала, потому что была незаконнорожденная. А что такое незаконнорожденная — рождаются все по одному закону — закону

любви. Вот и ее называли Любовь. Когда она родилась, детям давали замысловатые, не привычные для уха, имена. Любу мать назвала Лаурой. Бабке имя не понравилось: "Пусть будет как я — Любовь." Потом она ей часто говорила: "Любовь — это как море. Все в нем: и жизнь, и страдание, и великое наслаждение и смерть."

Парня Люба любила. Ничего особенного в нем не было, только глаза звали за собой. И было в нем столько удали, что закружило ее. Она не вешалась ему на шею. Вот глаза выдавали эту собачью привязанность. Глаза-то были материны. Знакомые ей говорили: "Любка, ну и глазищи у тебя" Парню было с ней хорошо: претензий никаких, она его любит.

Потом разбиралось ее поведение, халатное отношение к работе и очередным задачам предыдущего пленума. И в жизни коллектива не участвует. Таким нет места в социалистическом обществе. Через несколько дней подошел секретарь комсомольский, который горячился больше всех и пригласил провести с ним вечер. Рука у нее вдруг стала потной, жаловаться никому не стала, пришла домой и напилась. Напилась еще и потому, что узнала: парень женился.

И приснился ей тогда сон, будто превратилась она в ворону и прыгает с другими воронами около помойки, ищет пищу. Ей ничего не остается, вороны ловкие. Прыгает клюет, а вместо хлеба — камни. Обессилев, распласталась на земле и

вдруг слышит шум. Вокруг нее стоят люди, хохочут и показывают руками, кричат: "Белая ворона. Белая ворона. Белая ворона." Она проснулась, посмотрела на руки, оглядела тело. "Белая ворона", — еще слышала она. Комсомольское собрание, белая ворона, комсомольский секретарь — все перемешалось у нее в голове.

И вдруг поняла, что вера бывает от надежды и что надо верить и надеяться на себя. Особо долгими связями себя не насиловала, нравилась она мужчинам детской непосредственностью. Как только чувствовала, что начинает увлекаться, бросала.

Работалось ей тоже неплохо. Уважали, на доске почета ни раз фотография висела. Старалась в общественной жизни участвовать, выбрали профоргом и теперь сама выступала на собраниях. Бывший комсомольский секретарь, стал начальником и время от времени приглашал ее провести с ним вечер, а если было желание, то и ночь. Она не отказывалась. Догадывалась, что любовниц уважают и боятся почему-то больше, чем начальников. Понимала она, что мужчина должен любить и заботиться. Вот они любили и заботились. А когда начинала спрашивать себя: "Зачем? Почему?" Оставалась одна и уже не было любви и заботы.

Грелка остыла. Ветер гулял по комнате. Тоска грузом повисла на плечах. Ее продолжало знобить.

Деда долго уговаривать не пришлось. Ему нравилось сидеть с ней, говорить о жизни. Она

умела слушать, не перебивая. Выпив рюмку, дед кричал, вытерал тряпкой старчески слезящиеся глаза, говорил о любви, о том, что жить надо умеючи, что ничего нет лучше, кроме жизни и не надо суетиться, не бежать, так как жизнь суеты не любит. Она отпивая водку глотками, думала о чем-то своем, далеком. А дед все говорил и говорил, пока бутылка не кончалась. Она, вернувшись на землю, спрашивала:

— Дед, почему нет праздника счастья? Еще много незанятых воскресений и все субботы свободны?!

— Ну и чудная ты баба, — отвечал он, — праздник счастья! А если в этот день голова разболится?! Вот и радуйся тогда.

Она замолкала, уставившись в пространство. Потом уронив голову на стол, слегка посапывая, начинала засыпать. Дед ее будил и отводил домой.

Сейчас он ее не узнавал. Озноб не прекращался, глаза блестели, водку пила не глотками, а залпом и все ей было мало. Рюмка так и мелькала у нее в руке. Она говорила, задавала вопросы и сама на них отвечала, не давая деду открыть рот. Они доканчивали вторую бутылку. Ее занимали какие-то мосты, и почему на всех мостах лозунги, и каждый фанарь должен кого-то приветствовать. Дед отвел ее в комнату. Она повалилась на тахту, стены, покачиваясь, надвигались на нее. Затем раздвигались и ей казалось, что она куда-то едет. В окно падал фонарь, повиснув белым пятном на

полосках проводов. Фиолетовое небо озарялось красновато-оранжевыми искрами завода. Зарево то увеличивалось, то уменьшалось, напоминая кровавое море, играющее с солнцем. Оно двигалось к ней. Провода превращались в мосты, они переплетались между собой и чудовищными конструкциями наступали на нее. Потом все исчезло. Ей казалось, что кровавое море рядом с ней. Она плывет в нем и не надо выходить из него. Было тепло, уютно, ее больше ничего не тревожило.

Любу нашли утром в луже крови, с перерезанными венами, уголки губ были немного приподняты, застывшими то ли в улыбке, то ли в зове о помощи. Книжка так и осталась открытой на той же странице с подчеркнутыми строчками.

И чтоб сердцу легче стало, встав я повторил устало:

Это гость лишь запоздалый у порога моего...

Вскрытие и расследование ничего не дало. Она была рядовым человеком. Судимостей и орденов не имела, в войне не участвовала, в никаких преступлениях замешана не была. Она казалась странной, но сейчас многие люди со странностями. Вероятно, самоубийство произошло на почве сильного опьянения. Дед подтвердил, что она последнее время злоупотребляла алкоголем.

г. Москва. 1969 г.

Виолетта

(Повесть)

Теперь-то уж давно — в середине еще двадцатых годов — Александра Ивановна впервые зашла в самую большую тогда аптеку Москвы на бывшей Никольской улице.

Александра Ивановна, то есть тогда просто и только Шурочка, глаз не могла оторвать от вращающихся дверей, в которые входили и экстравагантные женщины, и вальяжные мужчины — те, что подъезжали на конях, в лимузинах, седанах, кабриолетах...

И в самой аптеке ее покорило все: и лестница, ведущая на второй этаж, и лепка потолков. Но главное — люди: ей почему-то казалось, что мимо

нее проходили недоступные и красивые герои вроде звезд немого кино Рудольфа Валентино и Рамона Наварро.

И захотелось работать именно в этой аптеке — все равно кем.

После седьмого класса она поступила в фармацевтический техникум. Но не закончив курса, начала работать в аптеке. Правда, не в той, о которой мечтала, а в другой — на Самотеке.

Шурочка верила в гадания, приметы, предсказания, стечения обстоятельств. Тянулась ко всему красочному, необычному. Работая на ручной продаже, она искренне считала себя фармацевтом.

С мужчиной по имени Арнольд она познакомилась в начале тридцатых годов. Он еще только подходил к аптечному прилавку, а ее уже пронзила мысль: "Валентино"

Арнольда она полюбила на всю жизнь. Шурочка сошлась с ним — он был ее ровесником — через три месяца после знакомства. Арнольд работал чертежником в архитектурной мастерской и учился в строительном институте. Расписываться с Шурочкой в загсе он не торопился. Он называл ее ласково "Цюрик" и все время повторял, что обожает ее за душевную чистоту и бескорыстие.

Но Шурочкина мать, Любовь Осиповна, ежедневно видя у себя дома Арнольда, ворчала, что,

мол, так жить негоже. Шурочка в ответ только улыбалась и говорила, что сейчас многие так живут. Если бы дети были, тогда оно, конечно, надо...

Рожать Шурочка (теперь уже Александра Ивановна) надумала, когда ей было уже под тридцать. Незадолго до этого она была в Большом театре и решила дочь свою наречь Виолеттой. Подруга Шурочки Лилия, как-то раскинув карты и вглядевшись в едва обозначенные линии детской ладошки, предсказала, что Виолетту в будущем ожидает богатая жизнь с любящим мужем, что будет у нее два "красивых ангелочка" — мальчик и девочка, и что имя Виолетта принесет ей исполнение всех желаний.

Александра Ивановна успокоилась.

Однажды Лилия сообщила тридцатилетней Александре Ивановне, что встретила Арнольда с какой-то девицей, которую он так "бережно обнимал глазами", что хорошего ждать от этого нечего. Лилия вызвалась узнать, что это за особа, которая перепутала весь ее расклад и предсказания.

"Особа" оказалась официальной женой Арнольда. Лилия узнала, что недавно родилась у них дочь.

— Вот оно что... А я и вправду верила, что уезжал новый город строить... — проговорила Александра Ивановна и обмякла. Слезы обожгли

нее проходили недоступные и красивые герои вроде звезд немого кино Рудольфа Валентино и Рамона Наварро.

И захотелось работать именно в этой аптеке — все равно кем.

После седьмого класса она поступила в фармацевтический техникум. Но не закончив курса, начала работать в аптеке. Правда, не в той, о которой мечтала, а в другой — на Самотеке.

Шурочка верила в гадания, приметы, предсказания, стечения обстоятельств. Тянулась ко всему красочному, необычному. Работая на ручной продаже, она искренне считала себя фармацевтом.

С мужчиной по имени Арнольд она познакомилась в начале тридцатых годов. Он еще только подходил к аптечному прилавку, а ее уже пронзила мысль: "Валентино"

Арнольда она полюбила на всю жизнь. Шурочка сошлась с ним — он был ее ровесником — через три месяца после знакомства. Арнольд работал чертежником в архитектурной мастерской и учился в строительном институте. Расписываться с Шурочкой в загсе он не торопился. Он называл ее ласково "Цюрик" и все время повторял, что обожает ее за душевную чистоту и бескорыстие.

Но Шурочкина мать, Любовь Осиповна, ежедневно видя у себя дома Арнольда, ворчала, что,

мол, так жить негоже. Шурочка в ответ только улыбалась и говорила, что сейчас многие так живут. Если бы дети были, тогда оно, конечно, надо...

Рожать Шурочка (теперь уже Александра Ивановна) надумала, когда ей было уже под тридцать. Незадолго до этого она была в Большом театре и решила дочь свою наречь Виолеттой. Подруга Шурочки Лилия, как-то раскинув карты и взглядевшись в едва обозначенные линии детской ладошки, предсказала, что Виолетту в будущем ожидает богатая жизнь с любящим мужем, что будет у нее два "красивых ангелочка" — мальчик и девочка, и что имя Виолетта принесет ей исполнение всех желаний.

Александра Ивановна успокоилась.

Однажды Лилия сообщила тридцатилетней Александре Ивановне, что встретила Арнольда с какой-то девицей, которую он так "бережно обнимал глазами", что хорошего ждать от этого нечего. Лилия вызвалась узнать, что это за особа, которая перепутала весь ее расклад и предсказания.

"Особа" оказалась официальной женой Арнольда. Лилия узнала, что недавно родилась у них дочь.

— Вот оно что... А я и вправду верила, что уезжал новый город строить... — проговорила Александра Ивановна и обмякла. Слезы обожгли

щеки. — Что же делать?! — она оглянулась на Лилию, ища у нее поддержки.

— Ребенка кормить, — вступила в разговор бабушка Люба, — а не об архитекторе подлом думать. Взяла позор на голову, а дитяtko при чем? — И она отправилась на кухню.

— Он такой же архитектор, какой Шурочка фармацевт, — безапелляционно заявила Лилия вслед удаляющейся бабушке Любе. — Я ей наколдую, этой выскочке! Ей век ее страшным сном казаться будет. Хорошо б вещь какую с нее получить... Да хоть косынку паршивенькую. Уж все б случилось, — обнадеживающе выговорила Лилия.

— Шурка! — крикнула в это время бабушка Люба из кухни, — слышь, ребенок-то заходится!.. За гаданьем не заметишь, как околеет. Совсем бабы сдурели. Все любовь шукуют. Поутру надо было, а не в обед, когда дитяtko без отца народилось. Тряпка она и есть тряпка бессловесная.

Александра Ивановна побежала к дочери, лежащей на большой металлической кровати, поменяла пеленки, взяла ее на руки и крепко прижала к груди. Тихое посапывание отозвалось приливом нежности и счастья: "Как хорошо, что она есть"

* * *

На Татьяне Арнольд женился сразу после окончания ею десятого класса.

По каким делам он в тот год оказался на ее родине, Татьяна не помнила. Но всегда стоял у нее перед глазами каток, где они познакомились, мерцание огоньков, отражающихся в темной глади льда, и его рука, придерживающая ее за талию. Арнольд проводил ее в тот вечер до подъезда, сказал, что завтра уезжает в Москву, а весной, то есть через три месяца, когда она, Танюся, закончит школу, он приедет за ней и увезет. Просил ждать его, потому что полюбил ее навсегда и хочет на ней жениться.

И действительно, когда он весной появился у них в семье, она почти не удивилась, потому что ждала его все это время. Арнольд ей виделся очень умным, значительным, всезнающим и таким взрослым, что на него спокойно можно положиться. Правда, смущалась, когда Арнольд ей при всех руки начинал целовать, но потом стало нравиться.

Хотя родители Татьяны, люди интеллигентные, и были против такого скоропалительного брака (жениха они совсем не знали, да и учиться дальше Танюше необходимо, у нее способности к живописи), она их все-таки не послушала. Ближе к зиме они поженились, и уехала Татьяна с ним в Москву.

Арнольду с молодой женой пришлось снять комнату.

Откуда было знать Татьяне, что Александра Ивановна к моменту приезда была уже на сносях.

...Виолетте исполнилось десять месяцев, Анечке — четыре, когда Арнольд бросил и Татьяну, девятнадцатилетнюю женщину с ребенком на руках, в чужом городе, на чужой квартире, где она и знакомыми обзавестись еще не успела.

Лилия была верной подругой Александре Ивановне и люто ненавидела "выскачку", а не Арнольда, и следила буквально за каждым днем жизни заезжей красотки.

— Ну, Шуренок, наша взяла, — не успев переступить порог одноэтажного каменного домика, где в Черкизове жила Александра Ивановна, одним разом выдохнула Лилия. — Убежал наш касатик. Бросил красотку-то на произвол судьбы. С ребенком. Будем дожидаться. Может, к нам поскакал. Все здесь свое, а не чужое. Комната есть. Бабку в чуланчик, на кухню, там обоснуется. Дома ему сейчас местов нет, сама знаешь, сколь народу там живет. Один путь — к тебе подаваться.

— А она-то как?

— Она-то?! Без молока она-то. Чуть ли не в горячке лежит. Допрыгались красота наша ненаглядная. Будет знать, как мужиков чужих уводить. Так ей...

Александра Ивановна уже не слышала злорадства подруги. Наспех всунула ноги в валенки, обмотала пуховый платок вокруг шеи, накинула тулуп и понеслась на другой конец города, где снимали комнатку Арнольд и Татьяна. Ей вдруг самой захотелось увидеть ту, которая теперь оказалась брошенной, как и она. Ту, что так устремилась за ее Арнольдом в Москву.

Еще у порога комнаты Татьяны Александра Ивановна услышала голодный плач ребенка. Рывком открыла дверь и увидела расprostертую молодую женщину на диване: она металась на подушке, слипшиеся темные волосы приклеились ко лбу.

Александра Ивановна сбросила тулуп, валенки, развязала платок, взяла на руки ребенка — это была девочка — и села на стул. Расстегнула кофточку, обтерла сосок борной кислотой, пузырек которой стоял на тумбочке у дивана, дала девочке грудь. Бедняжка жадно схватила ее, и Александра Ивановна чуть не вскрикнула от боли. Но та, будто поняв, что ничего отнимать у нее не собираются, спокойнее зашевелила губками.

Неожиданное чувство нежности охватило Александру Ивановну: ведь это крохотное беспомощное существо — тоже, как и ее дочурка, ребенок Арнольда. Будь что будет, но она не даст ему умереть с голоду.

Не сразу Александра Ивановна заметила, что женщина на диване осмысленно смотрит на нее. Вероятно, наступившая тишина насторожила Татьяну.

— Кто вы? — слабым голосом спросила она.

— Я? Шура...

* * *

Александра Ивановна перебралась к Татьяне вместе со своим небольшим семейством, так что бабе Любе пришлось ухаживать и за больной женщиной, и за двумя грудными детьми.

Александра Ивановна выкормила Анечку, благо молока у нее было много. Выходили они и Татьяну.

И как-то так сложились между ними отношения, что Александра Ивановна называла ту по имени и отчеству и на "вы", а Татьяна — теперь уже Татьяна Петровна — звала ее просто Шура и обращалась к ней на "ты". Это злило бабушку Любу, и она часто высказывала свое неодобрение дочери по этому поводу.

Война разбросала по разным концам страны Александру Ивановну и Татьяну Петровну. Татьяна Петровна с Анечкой эвакуировались в даль-

ний город на Урале, а Александра Ивановна с бабушкой Любой и Виолеттой застряли в Москве, где жили всю свою жизнь. Раскаты орудийных выстрелов и взрывы зенитных снарядов делали войну совсем близкой и ощутимой.

Все эти годы Виолетта ничего не знала о существовании Анечки и Татьяны Петровны. Бабушка Люба, с которой она была все время и которую очень любила, их не признавала и ничего слышать о них не хотела. Когда же Виолетта спрашивала бабушку об отце, та ей говорила, что он погиб на фронте. И Леточка, как звала ее бабушка, очень гордилась своим отцом. Хвастаясь перед другими детьми, она неизменно повторяла, что ее папа погиб, сражаясь с фашистами.

В один из воскресных дней, когда прошло уже больше месяца после разгрома Японии, в их доме появилась Татьяна Петровна и Анечка.

— Это твоя сестричка, — сказала Шурочка, — ее зовут Анечка. А это, — она указала на Татьяну Петровну, — ее мама, тетя Таня.

— Арнольд в городе? Что-нибудь известно о нем? — услышала Виолетта.

— Не знаю, — упавшим голосом произнесла Александра Ивановна. А Виолетта от какого-то неприятного предчувствия, вызванного внезапным появлением неизвестной сестры, бросилась к бабушке Любе за разъяснением.

— Она его дочь, — сказала бабушка. — Он врун и негодай, твой отец. Он жив. Они обе любят этого негодая, этого Урольда.

Потом Виолетта никогда не слышала, чтобы бабушка правильно называла его имя. В ее устах оно звучало только "Урольд", и никак иначе. Но в то мгновение Виолетта чувствовала, что все услышанное тяжестью давит на нее и ей необходимо что-то сделать. Она схватила тарелку и бросила ее на пол. Звук разбитой тарелки вызвал в ней необъяснимый азарт. Она схватила вторую и тоже бросила на пол. Бабушка, сначала опешившая от неожиданности содеянного, вдруг пришла в себя, и когда Виолетта уже тянулась к третьей тарелке, влепила ей звонкую оплеуху.

— У, звереныш Урольда, — только и проговорила она. — Господи, за что ты меня наказываешь? — услышала затем Виолетта. — Одна размазня, а другая звереныш...

После этого Виолетта возненавидела отца и стала презирать свою мать.

Александру Ивановну она теперь называла "Шура", а себя именovala "зверенышем Урольда". И никакие увещания Александры Ивановны и порки бабушки Любы не могли выбить из нее принятого решения. В семь лет она также решила, что никогда не будет иметь несчастных детей, чтобы не разводить безотцовщину, никогда не будет любить, чтобы не быть униженной, как

мать, и уж никогда не будет выкармливать своим молоком чужих детей.

Обо всем этом Виолетта не единожды слышала от бабушки.

— Надо ж было такую дуру на свет божий родить?! — гневно удивлялась бабушка. — Мало, что дочь без отца заимела, так еще и грудь для разлучницы подставила! Нет, тряпка она и есть тряпка! Даже прохвосту тряпка не нужна!

— Мама, ну что вы такое тут мелете?! Ребенок же все слушает, — пыталась остановить ее Александра Ивановна. Виолетта в той же комнате сидела за уроками.

— Пусть знает, что у нее мать размазня, а отец — подлец и негодяй, — не унималась бабка.

— Она и так меня не уважает... Шурой зовет... Думаете, легко слышать такое от родной дочери...

— А чего уважать-то тебя?.. За любовь?.. За ребенка без отца? За то, что тряпка? Та моложе, а сообразила... Девочка его фамилию носит, да и она сама тоже. Думаешь, я твоего отца не любила? Еще как! Только до свадьбы с ним не путалась. Ты, видно, вся в него пошла, — неожиданно смягчилась бабушка Люба, — он тоже размазней был. Да хватит реветь! Пойди умойся.

И увидела Виолетта, что бабушка взяла ее взрослую маму за руку и, как маленького ребенка, повела к раковине на кухне. Умыла ее холодной

водой, вытерла льняным полотенцем, отчего лицо мамы начало пунцово гореть.

— Посмотри на себя, — бабушка ласково провела рукой по щеке дочери, и они улыбнулись друг другу. — Ведь еще ничего, хоть и годков много. А что Летка у нас есть — это ж радость какая! Ты только им не потрафляй!.. — начала учить она дочь. А кому не "потрафлять", было не известно, потому что все свободное время Александра Ивановна проводила дома с матерью и дочерью, — Вон красавица какая, — уже чуть ли не замулыкала бабушка. — Волосы по модному заberi. Вертушка-то твоя чернявая, смотри, как делает, — уже неприязненно произнесла старуха, вспомнив Татьяну Петровну. — Главное, помни — никому не потрафляй. А в первую очередь ей, — она глазами указала на Виолетту, — не то измучает тебя. Видно, одна я с ней только и могу сладить. Господи, как ты без меня будешь, коли помру... Все ж звереныш, — продолжала бабушка Люба, будто уже рассуждала сама с собой. — Сводная-то ее совсем другая... Мягкая, ластится к тебе. А эта зверем насупится...

После этих рассуждений бабушки Любы Виолетта не только еще больше презирала мать, но и начала ненавидеть свою сестру и ее мать, которая, как говорила бабушка, "шастала к ним в дом, чтоб штой-то выведать" И как ни ругала Виолетту за проступки бабушка Люба, она оставалась для

девочки единственным любимым человеком, к которому та тянулась и которому все прощала.

Виолетта училась в третьем классе, когда к ним в гости пришли Татьяна Петровна и Анечка.

— Шура, зачем они здесь? — во всеуслышание спросила тогда Виолетта у матери. — Они тебе нужны? Я их не приглашала.

Александра Ивановна на знала, куда ей деться от стыда, хоть сквозь землю проваливайся, а Виолетта демонстративно повернулась к ним спиной и сказала:

— Я уйду в чулан. Там сделаю уроки. А то здесь гости непрошенные сидят.

Конечно же, Александра Ивановна стала просить Татьяну Петровну и Анечку не обращать внимания на эту грубиянку, она, мол, Шурочка, очень рада их приходу. Но настроение было испорчено, и гости вскоре засобирались домой. Когда они уходили, Виолетта, чтобы те видели, выбросила на крыльцо перед их носом принесенную Анечкой в подарок маленькую куколку с закрывающимися глазами — о такой кукле Виолетта мечтала...

После ухода гостей Александра Ивановна заплакала, а бабушка Люба взяла офицерский ремень — одному богу известно, как он попал к ним — и выпорола Виолетту. Закусив до боли губы, Виолетта не издала ни одного звука. Алек-

сандра Ивановна видела, что дочери больно, и старалась вырвать у матери ремень. Но та ее отталкивала, приговаривая: "Учить надо сейчас, потом поздно будет"

А через несколько часов Виолетта и бабушка Люба, обнявшись, вместе сидели на кровати и рассказывали истории "по секрету", дав друг другу честное слово, что ни та, ни другая никому об узнанном не проговорится. Бабушка рассказала ей про деда, который, убегая из махновского плена, утонул в реке, когда "Шурка была еще голенастой девчонкой", про то, как в войну она экономила хлеб, чтобы продать его на рынке — буханку за двести рублей, так как "Леточка, внучка ее непослушная, тяжело заболела" Как продала она серьги свои, единственный подарок мужа, чтобы масла купить. Потом решила масло перепродать и чуть не угодила в тюрьму. Виолетта, тоже под очень большим секретом, поделилась с бабушкой, что ее выгнали с урока — она бросила ластиком в девочку. Потом нагрубила учительнице, и ей поставили двойку по поведению, на неделю исключив из школы. Бабушка нахмурила брови и взяла с внучки честное слово, что та будет себя хорошо вести и больше не получит двойку по поведению.

После, давая друг другу "честное слово", они старались его ничем не нарушать, и это еще

больше скрепляло их взаимную любовь. Но Виолетта была недаром ребенком не только непоседливым, но еще и озлобленным. Поэтому, выдерживая честное слово в одном деле, она неминуемо о нем забывала в другом.

Как ни учила бабушка Люба свою дочь, но потрафляя Александра Ивановна всем. И Татьяне Петровне, когда та, подкинув к ним Анечку, на несколько дней выехала за своими родителями, чтобы привезти их в Москву и жить всем вместе. И Арнольду, когда он после своего исчезновения через несколько лет вдруг опять объявился, прислав известие "своему Шурику-Цюрику", что тяжело заболел и находится на излечении в санатории.

Александра Ивановна тут же для себя решила, что в ближайшее воскресенье поедет к нему. Всю ночь с субботы на воскресенье возилась с пирогами. То были его любимые пирожки с вязигой и курагой, с капустой и яйцами и особо любимые — с маком. Еще ранним субботним утром, перед работой, сбегала Александра Ивановна на базар и купила на последние деньги цыпленка, чтобы отварить и свезти Арнольду.

Пирожки она завернула в несколько слоев пергамента, а затем в льняное полотенце, а большую кастрюлю с бульоном и курицей обмотала старой телогрейкой, да еще положила на дно сумки несколько слоев серой ваты.

Виолетта слышала, как опять скандалила бабушка с матерью, в который раз повторяя той, что она тряпка бесхарактерная, что любой попросит — тут же спешит исполнить. Не умеет она, Шурка, жить. В единственный свой выходной несетя к этому прохвосту, лучше бы с ребенком побыла. Хоть бы ноги свои больные пожалела, вона как вены раздуло. Мало того что несетя, так еще ему, антихристу проклятому, курицу волокет, а сама-то ее в прошлом годе разок только и сумела попробовать.

— Я только половину взяла. Вам с Виолеттой половину оставила, — Александра Ивановна умоляюще посмотрела на мать.

— Бабулюшка (еще минуту назад казалось, что Виолетта с интересом читает книгу), у Шуры самолюбия нет. — Это слово она недавно вычитала из "Сестры Керри", которую Александра Ивановна прятала, считая, что дочь еще не доросла до таких романов. Но Виолетта книгу находила и с потворства бабушки дочитала ее до конца. — Шура, у тебя совсем нет самолюбия, — еще раз повторила Виолетта понравившееся выражение и, отвернувшись от матери, продолжала чтение.

— Все вы против меня, — Александра Ивановна в раздумье села на стул. Но не прошло и мгновения, как она решительно встала, оделась, взяла сумку с едой и направилась к выходу.

— Покрепче платок-то повяжи. Смотри, стужа какая! Небось больше двадцати, — кричала ей вдогонку бабушка Люба. Александра Ивановна так спешила, что и теплых носков не надела в старые разношенные фетровые ботики, которые давно уже надо было заменить новыми.

Но мороза Александра Ивановна не замечала. Она в пути все думала о предстоящей встрече с Арнольдом. Ей представлялось — она придет к нему, сядет рядом и начнет его угощать: сначала бульоном с курицей, затем разложит на полотенце пирожки и будет смотреть, как он их с удовольствием ест. Потом возьмет его руку, склонит ему на плечо голову и начнет молча слушать его исповедь... От этих мыслей ей становилось тепло и радостно на душе... И счастливая улыбка бродила по ее лицу.

Дорогу до санатория Александра Ивановна видела будто сквозь пелену. Садилась в электричку, расспрашивала соседей по вагону, как удобнее добраться до санатория — все это словно бы совершалось не ею, а кем-то другим, и она словно бы со стороны наблюдала за этим кем-то, удивляясь и радуясь счастьем, светившемуся в его глазах.

Арнольда она увидела сразу, лишь ступила на территорию санатория, обнесенного неуклюжим деревянным забором. Размещался санаторий в старинной помещичьей усадьбе, и забор этот так не вязался с изящными колоннами главного кор-

пуса, с белыми фигурками гипсовых ангелов, порхающих над окнами и дверями. Арнольд играл в городки, несмотря на мороз. Он как раз занес руку, чтобы послать биту подальше, когда до него донеслось звонкое:

— Арнольдушка!

Он с удивлением обернулся.

— А, это ты...

Александре Ивановне почудилось некое разочарование в его голосе. Но уже в следующее мгновение Арнольд подошел к ней и обнял. Затем его взгляд коснулся ее руки, которая была без варежки. Александра Ивановна почему-то ее сняла. Он своими огромными ладонями взял руку Александры Ивановны и, поднеся ее к губам, поцеловал. От неожиданности Александра Ивановна вздрогнула и, смущенно потупившись, чуть было не выдернула руку. Но Арнольд, крепко держа маленькую ладошку, опять поднес ее к губам, начал нежно на нее дышать. Его теплое дыхание блаженством разливалось по телу. Радость и восторг захлестнули Александру Ивановну. Она еще сильнее прижалась к нему. Ее радостное возбуждение на какое-то мгновение передалось и ему.

— Ну-с, Шурик, — сказал Арнольд, — пойдем пощечбечем. Ты, наверное, замерзла, пока ехала?

— Нет, — поспешно ответила Александра Ивановна, — не замерзла...

Они направились к главному корпусу. Арнольд взял Александру Ивановну под руку, в другой он нес ее сумку.

Соседи по палате, увидев их, тут же покинули комнату. В пепельнице на столе дымилась оставленная кем-то из них папироса. Почему-то Александре Ивановне казалось важным запомнить любую мелочь, связанную с этой встречей через несколько лет. Она и потом долго помнила эту дымящуюся папиросу и голубоватый шлейф дыма, который, качаясь, поднимался от стола к потолку, украшенному гипсовым ангелочком.

— Осторожней, осторожней, — вскрикнула Александра Ивановна, когда увидела, как Арнольд небрежно бросил ее сумку на подоконник.

— А что здесь?

— Поесть тебе привезла.

— О, это не помешает. Знаешь, кормят здесь очень невкусно, да еще вот суставы разболелись.

— И Арнольд стал расписывать болезнь свою во всех мелочах, словно это было главным сейчас, словно они не расставались на долгих двенадцать лет.

Александра Ивановна только успела разложить свои приношения и даже еще держала

кастрюлю с бульоном в руках, как в дверь посту-
чали.

— Да-да, — игриво произнес Арнольд.

Дверь открылась: на пороге стояла Татьяна Петровна. Александра Ивановна чуть кастрюлю с бульоном не выронила из рук.

— Кого я вижу?! — радостное удивление прозвучало в восклицании Арнольда. — Присаживайся, — он бросил на Татьяну Петровну сияющий взгляд. А Александра Ивановна с болью подумала, что ее он встретил буднично, как само собой разумеющееся.

Арнольд, оторвав изрядный кусок от курицы, стал угощать Татьяну Петровну, и та с удовольствием впиалась белыми зубами в сочную, мясистую куриную ножку. Слезы подкатили к горлу Александры Ивановны. Она схватила свою опустошенную сумку, платок, рывком открыла дверь и побежала.

— Цюрик, куда ты? — услышала она удивленный голос Арнольда.

Слезы душили Александру Ивановну. Весь обратный путь до дома она проплакала, не стесняясь пассажиров ни в поезде, ни потом — в автобусе.

— Так тебе, дуре, и надо, — единственное, что проговорила бабушка. А Виолетта, как и утром, сказала:

— У нее же нет самолюбия...

— А ты, звереныш, молчи! — Бабушка Люба дала внучке увесистый подзатыльник. — Еще не выросла речи болтать.

— Все равно у нее нет самолюбия, — настырно стояла на своем Виолетта.

— Вот Урольд проклятый, надо же ему опять свалиться на нашу голову... А ты свои звериные повадки брось, — бабушка уже обращалась к Виолетте, — не то я те всю дурь повышибаю. Не доводи до греха, — и она так треснула ее по спине скалкой, которой еще недавно раскатывала тесто, что Виолетта чуть не взвыла от боли.

К ночи Александра Ивановна почувствовала, что ее знобит. Хотела взять свое пальто и набросить его поверх одеяла, но, не успев сесть на кровати, тут же со стоном повалилась на бок.

— Шурка, ты чегой-то? — услышала она голос бабушки Любы, которая чутко спала, охраняя сон дочери и внучки.

— Что-то плохо мне, мама... Знобит... Вы мне пальтишко не кинете?..

Старуха, словно ей было и не за семьдесят, вскочила на ноги и уже щупала лоб Александры Ивановны.

— Ой, дочка, да ты никак вся горишь... говорила, не езд. Застудил тебя прохвост проклятый!

— Она зажгла свет и, обхватив крепкими руками плотную, даже немного грузноватую Александру Ивановну, одним махом перенесла на свою кровать, накрыла теплым одеялом.

— Сейчас, дочка, погоди, родненькая, — услышала сквозь сон причитания бабки Виолетта. Свет ей резал глаза, и она недовольно проворчала:

— Ну чего опять баламутите?..

— Я те побаламучу! Ну-ка вставай, — оборвала ее бабушка Люба. — Налей чайник, кипяток нужен. Я малинки заварю. Горчицы в носки насыплю. Вовремя я носков-то навязала. Ничего, доченька, я тебя к утру выправлю.

— Мама, Лету не трогайте. Пусть спит, ей завтра в школу.

— Нет. Пусть учится за матерью ухаживать.

Сделав отвар из смеси трав, она достала из маленького погребка крынку с молоком, подогрела его на керосинке. Затем стала поить дочь всеми снадобьями.

— Леточка, ну-ка принеси мне малину, — приказывала время от времени она внучке, а через минуту просила быстренько подать льняное полотенце из шифоньера, чтобы обтереть им начавшую потеть Александру Ивановну.

Всю ночь бабушка Люба вместе с внучкой ухаживали за больной. К утру температура спа-

ла, и Александра Ивановна начала собираться на работу.

— А как же Лета в школу-то пойдет? Она же не спала совсем... — Александра Ивановна вопросительно посмотрела на мать, ища у нее ответа.

— Я сама пойду в школу, скажу учительнице. Все равно там первый урок физкультура. Часик лишний и прихватит.

Бабушка Люба пошла в школу, все объяснила, и Виолетте разрешили прийти позже.

Виолетта собиралась на занятия и второпях кидала учебники в портфель. Вдруг услышала стук в окно. Она откинула занавеску и увидела Татьяну Петровну со свертком в руке. Виолетта отворила дверь. Татьяна Петровна стояла на крыльце, переминаясь с ноги на ногу.

— Вот, передай маме... она забыла... — Татьяна Петровна протянула сверток, завернутый в газету. Развернув газету, Виолетта увидела знакомую кастрюльку и полотенце. И тут в ней впервые вскипела обида за мать. Она со всей силы швырнула кастрюльку в спину удалявшейся Татьяны Петровны, но кастрюлька, не долетев несколько шагов до женщины, шмякнулась в сугроб.

Татьяна Петровна обернулась.

— Не нужна нам эта кастрюля! Ничего нам не нужно! Курицу нашу слопали и не подавились!.. — повторила Виолетта тираду, что день назад

слышала от бабушки Любы. — Нечего шастать к нам! У вас есть ваша Анечка, ваша отличница, вот и живите с ней. Нечего к нам нос совать!..

Бабушка Люба тем временем шла к крыльцу, груженная авоськами, когда увидела стоящую посреди двора Татьяну Петровну и услышала последние выкрики внучки.

— Я те щас шкуру спущу, — нисколько не смущаясь присутствием Татьяны Петровны, спокойно произнесла бабушка Люба. И чтоб Виолетта не слышала, глядя в глаза Татьяне Петровне, тихо сказала: — Вы и вправду не ходите больше к нам. Она и так звереныш, а при виде вас звереет еще больше. И дочку к нам не присылайте. Мы уж сами как-нибудь управимся. Я Шурке скажу, чтоб тож к вам не лезла. Ей все кажется, что помощь нужна. А какая от нее помощь? Ей бы кто помог... Так нет, всем угодить хочет, — и бабушка Люба направилась дальше. Тут она увидела лежащую в сугробе кастрюльку и рядом полотенце. Она подняла их, посмотрела на Виолетту и сказала: — Иди в школу, потом выпорю, после занятий.

...Виолетта, оттягивая момент порки, кружила по переулкам, придумывая себе все новые маршруты, чтобы удлинить дорогу к дому.

Дома она застала Александру Ивановну с подругой Лилией. Виолетта ей очень обрадовалась: ясно было, что на сегодня порка отменяется. Тетя Лиля обычно сидит допоздна, пока по новому

гаданию не раскинет карты и в который раз не истолкует все линии руки матери. При ней бабушка Люба пороть не станет, а потом ей, Виолетте, надо ложиться спать, иначе опять проспит школу. Бабушка Люба твердо стояла на страже получения знаний.

Оказалось, бабушка Люба пороть ее и не собиралась, за делами она забыла о своем обещании и очень ласково спросила, где внучка так долго бродила, она уже начала беспокоиться.

Бабушка с того дня ее больше никогда не порола и всего раз произнесла слово "звереныш Урольда"

Много позже Виолетта поняла, что бабушка порола ее потому, что по-своему любила и жалела. Но любовь свою и жалость скрывала, прячась за эту экзекуцию. Поняла Виолетта также и то, что своей любовью и жалостью она боялась сделать Виолетту такой же, как мать: мягкой и бесхарактерной. Уже тогда бабушка Люба, наученная горьким опытом дочери, почувствовала, что эти качества не помощники в жизни женщины.

Лилия в этот вечер впервые не раскидывала матери карт, не предсказывала ей скорого свидания с Арнольдом, а поделилась узванными новостями, которые как-то должны были облегчить Шуренку ее жизнь.

Лилия, а на работе Лилия Антоновна, много лет подряд работала в районной прокуратуре, поэтому хорошо знала законы, то есть права и обязанности граждан. По этим законам выходило, что раз Виолетта родилась до войны, а у Шуры с Арнольдом (еще до рождения ребенка) было общее хозяйство в течении семи лет и тому есть свидетели, хотя бы она, Лилия, то Шурка спокойно может подать на него в суд и получить алименты по исполнительному листу.

— Нет, никуда подавать не буду, — твердо сказала Шура. — Не буду унижаться. Жили без алиментов, проживем и дальше.

— Ты только посмотри на эту дуреху, — вмешалась бабушка, — она проживет! Унижаться не будет! Когда безотцовщину развела, когда к нему как оглашенная поскакала, про унижение не думала?! Что у девочки формы нет, небось тоже забыла?! Ее сводная форму имеет, а нашей, как нищенке, из галифе перешили. Еле их на базаре тогда выторговала... Нет, ты у меня этот лист заимеешь, никуда не денешься! Не то я тебя, как Летку...

— Бабулюшка, — не дав договорить старухе, произнесла Виолетта, — не обращай ты на нее внимания. У нее ж нет самолюбия. — Теперь она к месту и не к месту употребляла это слово. — Я сама листа добьюсь. Ничего, он у меня еще попля-

шет. Вырасту, — она мечтательно закатила глаза, — шкуру сдеру.

— Мама, да что ж это она говорит?! Чему вы ее учите! — забеспокоилась Александра Ивановна. — Не дай бог кто услышит! Ладно Лилечка, свой человек, а если чужой узнает?! Что он подумает?!

Виолетте захотелось вдруг подразнить мать и, озорно блестя большими серыми глазами, она проговорила:

— Сказала шкуру сниму — значит, сниму. Будет наш Урольд без шкуры!.. — И она весело расхохоталась.

— Мама, — плачущим голосом тянула Александра Ивановна, — ну что вы смотрите и радуетесь! Она же на голову садится... Все равно, что хотите делайте со мной, а подавать я не буду. — Слезы уже текли по лицу Александры Ивановны.

— Хватит реветь-то! — примирительно сказала бабушка. — Иди умойся. Чай с пирогами пить будем. Я вона спечь успела. — При слове "пироги" к бабушке опять подкатила волна злости на Арнольда. — Неужель тогда не подавился, в глотке не застрял хоть кусочек!..

— И курицу нашу слопал, — поддакнула бабушке Любе Виолетта. — Нет, все-таки я вырасту...

— Я те вырасту, — оборвала красноречие внучки бабушка Люба. — Ну-ка иди на кухню.

Помогай мне накрывать стол. В самовар давай кипяток налей. — Бабушка Люба никого не оставила без дела. Подругу Лилию вызвала на кухню, а Виолетту отослала к матери в комнату. Бабушка и Лилия, раздумываясь, вошли в комнату, когда самовар уже гудел.

Виолетте только-только исполнилось четырнадцать, она уже заканчивала седьмой класс, когда весной неожиданно бабушка Люба слегла в постель и больше не поднималась.

Занемогла она еще осенью. Разгоряченная, вышла на улицу и на ветру застудилась. Стала кашлять, зябнуть и говорить, что простуда ее доконает. Лечила она себя месяца два всеми своими снадобьями, но толку было мало. Александра Ивановна уговорила ее показаться врачу.

Врач, маленький старичок с реденькой бороденкой, постукивал бабушке пальцем по спине, прикладывал ухо к груди и все время приговаривал: "Дыхни, умолкни. Дыхни. Умолкни." Потом умудрился еще довольно гибкими пальцами подлезть чуть ли не в подреберье, все приговаривая: "Дыхни. Умолкни." Виолетта заметила взгляд бабушки, который встревоженно следил за движениями старичка. И девочку вдруг охватил страх — она увидела бессилие бабушки.

— Ну что, красавица, — проговорил доктор, — никак воспаление легких схлопотала? Пропи-

шу уколы. Новое средство. Очень действенно. Правда, достать трудно. Да и дорогое...

— Я в аптеке работаю... — начала было Александра Ивановна.

— Дорогих не надо, — приподняв голову, произнесла бабушка. — Я сама знаю, чем в легких простуду гнать.

Когда доктор уже стоял с Александрой Ивановной на крыльце, бабушка Люба послала девочку послушать, о чем "калякают мать с дохтуром" Из их разговора Виолетта поняла, что дела бабушки Любы очень плохи. Воспаление застарелое, и очень нужно достать это лекарство, которое, может быть, еще "рассосет воспаление"

— Что же делать? — завздыхала Александра Ивановна. — Что же делать? Да и денег нет. Где их взять?

— Шура, давай продадим мои туфли. — Александра Ивановна только сейчас обратила внимание на дочь, которая стояла сзади и слушала разговор. — Они же новые. Я ведь в них только в комнате по половику ходила.

Полгода назад эти чешские туфли стали очередной причиной для нравоучений бабушки Любы, слез Александры Ивановны и злобивости "звереныша Урольда". В одном классе с Виолеттой училась девочка — дочь известного артиста. Римма, так звали одноклассницу, всегда была хорошо одета, красиво причесана, и привозил ее в школу шофер отца на новенькой бежевой "Победе".

Однажды Римма пригласила в гости Виолетту. Виолетта еще никогда не видела ни такой красивой мебели, которая стояла в двух больших комнатах квартиры артиста, ни хрустальной люстры, ни ковров, ни даже газовой колонки, которая снабжала горячей водой ванную. А Римма водила Виолетту по квартире и поясняла:

— Это секретер из мореного дуба. А спальня у родителей из карельской березы. Шкаф в гостиной из красного дерева.

— Виолетта ходила как замороженная, будто попала в сказочный мир.

"Вырасту, — подумала Виолетта, — куплю секретер из мореного дуба"

Затем Римма вытащила из шкафа красного дерева коробку с туфлями и показала их Виолетте.

— А это мне подарили на день рождения. Вчера мы с мамой купили. — Она надела туфли на ноги и прошла в них по ковру.

Виолетта смотрела на туфли и чувствовала, что ей хочется иметь такие же во что бы то ни стало.

Римма заметила ее взгляд.

— У тебя какой размер?

— Тридцать пять.

— Такой же, как и у меня. На, примерь. Там как раз две пары тридцать пятого было. Так что вторую можешь купить себе. — Виолетта надела туфли на свои штопанные-перештопанные чулки в резиночку. — Примерь с моими чулками, — сказала Римма, — а то с твоими плохо смотрятся. Когда купишь туфли, с этими чулками не носи.

— А у меня других нет.

— На! Я тебе дарю, — сказала Римма, доставая все из того же шкафа совсем новую пару чулок. — Папа привез их уйму. Давай сбегает в универмаг, посмотрим, стоят еще туфли или нет.

— Давай, — согласилась Виолетта.

— Хочешь, я с тобой буду дружить, — предложила по дороге Римма. — Сядем за одну парту. Будем уроки вместе делать. То у тебя, то у меня.

— Давай, — опять согласилась Виолетта. — Только уроки будем делать у тебя. У меня Шура... — она замялась немного, — мама моя, и бабушка Люба, повернуться негде...

— А мне мама сказала, что если закончу на все пятерки — купит еще, — рассказывала Римма. — Мама говорит, что пятерки открывают жизненную дорогу.

Впервые Виолетта услышала, что за пятерки можно получать подарки. Она знала, что за двойки, особенно по поведению, бывают не только подзатыльники, но и порка. Пятерки бабушка Люба принимала как должное, само собой разумеющееся. Виолетта их несла домой, чтобы ремень висел на месте и скалка лежала на полке. Если же ей было интересно, то и пятерки сами сыпались в дневник, а потом и в табель.

За этими размышлениями Виолетта не заметила, как они уже вошли в универмаг и поднялись на второй этаж в обувной отдел. Туфли тридцать пятого размера действительно еще стояли на витрине. Но когда Виолетта посмотрела на цену, все в ней мгновенно опустилось — триста рублей!.. О таких покупках в их семье не то что не говорили, о них просто не думали. Третий год она ходит в школу в этом платье — из галифе, и бабушка, отпуская его, причитала, что "ноги у нее уж больно быстро растут" Нет, не видать ей этих туфель, не трогать такой красоты руками.

"Пусть Шурка подаст на алименты и купит мне туфли!" — зло подумала она.

— Опять ты черти где-то носили! — встретила на пороге дома ее бабушка Люба. — Одно беспокойство с тобой. Садись есть — и за уроки.

— Не буду, — буркнула Виолетта.

— Это почему ж?

— Не хочу!

— Летка, не доводи до греха!.. Опять за старое?!

— Да не будешь ты бить. Большая я уже. Могу и сдачи дать.

И бабушка Люба почувствовала, что она действительно может дать сдачи, но отступить не хотела, чувствовала еще свою силу и власть. Она было уже замахнулась, но, глянув на Виолетту, медленно опустила руку.

— Ладно! Не хочешь — не надо... Как вы мне все надоели! — старуха отвернулась от внучки, и Виолетта впервые заметила, что бабушка стала ниже ростом, ссутулилась, и она, Виолетта, уже почти догнала ее. Ей стало жалко бабушку.

— Бабулюшка, я поем. Давай мириться. Ну хочешь, я дам тебе честное слово, что буду учиться на одни пятерки!

Бабушка Люба заулыбалась, обняла внучку.

— Знала я, знала, что внучечка моя хоть и звереныш, а добрая девочка. У меня ведь вся

надежда только на тебя, — она крепче прижала Виолетту, испытующе заглядывая ей в глаза.

— Бабулюшка, я такие туфли сегодня примеряла, если б ты только видела! Они нам и во сне не снились! Триста рублей!..

— Ты что болтаешь?! — изумилась старуха, принимая прежний тон. — Какие триста рублей?!

— Вот к ним чулки, — Виолетта выскочила из-за стола и вытащила из портфеля пакетик с чулками. — Шелковые. Заграничные. У Шуры нет, а у меня есть, — восторженно продолжала Виолетта.

Бабушка выхватила из ее рук пакетик с чулками. Убедилась, что они действительно заграничные, необыкновенные. Ничего не понимая, она уставилась на Виолетту.

— Я с девочкой подружилась. Из нашего класса. Завтра с ней вместе сядем за одну парту. Она дочка артиста, — Виолетта назвала известную фамилию. — Мы с ней в универмаг бегали, туфли смотрели... У нее такие есть, я их примерила. У Римки мой размер. Я в них по ковру ходила... А секретер — это шкаф такой для занятий. Ящичков в нем много. И все из мореного дуба. Я себе обязательно потом такой куплю. Буду зарабатывать пятерки — они открывают жизненную дорогу, — вспомнила она фразу Римминой мамы. — Вырасту — буду делать подарки. Тебе, бабу-

люшка. Себе. И немножко Шуре. Чтобы эта вообразала Анька да мамочка ее увидели, что она красивше их. Оденем ее, как Римку. Вот Урольд-то удивится! — размечталась Виолетта.

— А мама Риммы про чулки-то знает?

— У них много! Полный шкаф. Отец из-за границы привез. Мы с ней теперь уроки вместе делать будем.

— Ну-ка, одевайся, — строго проговорила бабушка Люба, — пойдем. Отнесем обратно. Никогда ничего не бери без спросу.

— Она мне сама дала! Ничего я не брала...

Мама Риммы была очень удивлена приходом незнакомых гостей. Она поблагодарила бабушку Любу, что та вернула чулки, так как они очень дорогие и не каждая женщина может себе позволить купить такие. И Риммочка их надела, не спросив у нее разрешения. Им еще рано такие носить. Просто ее не было дома, вот девочка и похозяйничала. Но чтобы не огорчать Виолетту, она подарит ей тоже привезенные из-за границы фильдеперсовы чулки. Вообще она очень много слышала о Виолетте на родительских собраниях. Она сказала, что не хотела бы, чтобы Риммочка дружила с Виолеттой и сидела за одной партой, подвергалась ее дурному влиянию. Но это, конечно...

Бабушка Люба, не дожидаясь конца фразы, швырнула ей пакетик с шелковыми чулками. Крепко схватив Виолетту за руку, она резко хлопнула дверью и устремилась вниз по лестнице. Выскочившая на лестничную площадку Риммина мама кричала им вдогонку, что они неблагодарные оборванцы.

— Буржуи проклятые!.. — бабушка изо всех сил дернула Виолетту за руку.

Когда Александра Ивановна пришла с работы домой, бабушка Люба, покормив дочь обедом, вызвала ее на кухню. Виолетта поняла, что бабушка Люба рассказывает матери об их походе к Римме, о чулках, а главное — о туфлях, которые надо бы поднапрячься, а Леточке купить.

— Мама, вы что?! С ума сошли?! У меня для себя таких мыслей нет. А вы тринадцатилетней собираетесь купить.

— У меня кой-что на книжке есть. На похороны копила. Сто восемьдесят дам, немножко сэкономим. А купить надо. Вдруг помру, пусть у нее туфельки, как у принцессы, будут.

— Мама, ну что вы заладили?! Посмотрите, в чем я хожу!

— Она и так обделена. Без отца растет... А у тебя отец был. Летка потом тебя оденет. Она все сделает.

Целых три месяца они копили деньги, отказывая себе во всем, но пятьдесят рублей им все же пришлось одолжить у разных людей. Все это время Виолетта не подавала вида, что знает о затее бабушки Любы и матери. Каждый день она бегала в универмаг смотреть, стоят ли туфли или нет. И даже раза два видела там бабушку Любу, которая тоже караулила их.

Наконец настал день, когда они отправились за туфлями. Виолетта изо всех сил сдерживала себя, чтобы идти рядом с бабушкой Любой и матерью, а не мчаться сломя голову впереди. Пересилив себя, она и в магазин намеренно вошла последней, пропустив сначала бабушку и мать, которая у самого выхода задержалась и все хотела, чтобы Виолетта вошла в магазин раньше нее.

Зато уже в магазине Виолетта первой оказалась у прилавка. Продавщица недоверчиво выслушала требование Виолетты немедленно подать ей туфли.

— Вот те, самые красивые...

— Подай, подай, милочка, — сказала баба Люба продавщице, — что мы, не люди, что ли, чтобы такие не купить?

Виолетте показалось, что улыбка мелькнула на губах продавщицы, когда та, отвернувшись, доставала туфли с полки.

Взяв их в руки, Виолетта на мгновение ощутила разочарование. Такие недоступные раньше, они в ее руках уже не имели почему-то той притягательной силы, не так волновали, как прежде, когда она издали любовалась ими. Но разочарование было мимолетным. Через мгновение счастливый смех Виолетты вызвал улыбки на лицах бабушки Любы, матери и продавщицы.

— Носи на счастье, — сказала продавщица и обратилась к бабушке Любе, сразу почувствовав, кто здесь главный: — Красивая девочка!..

По дороге домой Виолетта уже не сдерживала себя, то намного обгоняла, то возвращалась к бабушке и матери и некоторое время шла рядом с ними.

— А ты говорила, не надо покупать, — с укоризной обратилась бабушка Люба к дочери. — Вишь, как девчонка-то расцвела... Да ради этого, кабы могла, каждый день покупала б ей обновки!..

Дома Виолетта поставила туфли посреди комнаты и долго любовалась ими.

— Ничего вещь-то портить зря, — ворчливо сказала бабушка Люба. — Когда надо будет, тогда и наденешь, — и она решительно спрятала туфли в шкаф.

Каждый выходной Виолетте разрешали пройтись в новых туфлях по половику, на который еще

стелили чистые тряпки, чтобы, не дай бог, не замарать туфли.

* * *

И вот теперь она стояла перед матерью и предлагала продать туфли, которые еще никто из окружающих ее детей не видел.

— Ох, доченька, — Александра Ивановна привлекла к себе Виолетту, и та почувствовала, как на ее шею упали слезы матери. — Что ж нам делать? Бабушка ведь совсем плоха... Что делать? Как же я без нее буду?..

Виолетта вдруг почувствовала, что ей жаль не только бабушку, но и слабовольную мать, которая растерянно прижималась к ней в ожидании помощи. И она, много лет не называвшая ее мамой, проговорила:

— Мам, не плач... Бабулюшка не такая. Она выдюжит. Мы ей поможем. Ты только при ней-то хоть не плачь. Виду не показывай... А туфли снеси.

Александра Ивановна от услышанного "мам" расплакалась еще сильнее. И Виолетта, как некогда бабушка, взяла свою взрослую маму за руку и повела к умывальнику, чтобы ополоснуть ей лицо холодной водой.

...Бабушке Любе становилось все хуже. Она теперь совсем не поднималась, молча лежала в постели, уставившись глазами в потолок.

Предчувствуя приближающуюся развязку, Александра Ивановна все чаще впадала в растерянность, страх и тревогу. Она одолжила у Лилии денег на лекарство, но достать его не сумела.

Виолетта о тех деньгах ничего не знала. Она видела, что лекарства нет, а туфли стоят в шкафу. И тогда она решила сама пойти на толкучку. Вернувшись из школы домой — бабушка, казалось, дремала в забытьи, — она потихоньку открыла скрипящую дверь шкафа.

Там лежала стопка чистого выстиранного, подсиненного и накрахмаленного постельного белья, которое бабушка трогать не разрешала, так как хранила все это к "Леточкиной свадьбе", и висело единственное нарядное, непонятно как сохранившееся во время войны, черное крепдешиновое платье Александры Ивановны. Еще совсем в раннем детстве Виолетта слышала историю этого платья. Когда мать только познакомилась с Арнольдом, он ей как-то со смехом сказал, что ему нравятся женщины в черном, потому что этот цвет делает их более стройными и изящными. Несколь-

ко месяцев Шурочка, и без того тоненькая, откладывала деньги, чтобы купить понравившееся ей платье.

Увидев ее в черном крепдешине, Арнольд всплеснул руками, упал перед ней на колени и сказал, что он навечно поражен в самое сердце. Может быть, поэтому довольно располневшая затем Шурочка и берегла это платье как зеницу ока, надеясь, что еще не раз поразит Арнольда "в самое сердце" Но случая такого после войны не представилось.

Виолетта уже схватила туфли, когда услышала слабый крик бабушки Любы:

— Ты штой-то там забыла?!

Виолетта успела спрятать коробку за дверцу шкафа.

— Бабулюшка, дверца-то разохлась, вот и открывается. Хотела маслицем залить, да не нашла. Ты куда его засунула? Я в машинке посмотрела — там нет.

— Бог с ней, с дверцей-то. Вот встану, найду сама...

Виолетта почувствовала, что бабушке Любе очень хочется верить, что так оно и будет, и девочка, чтобы показать, будто болезнь ее считает пустяковой, произнесла своим резковатым, слегка недовольным тоном, какой часто слышала бабушка:

— Конечно, сама. Больно надо мне возиться.

Этот тон, казалось, придал сил бабушке, и она, оторвав голову от подушки, погрозила ей пальцем.

— Я те поогрызаюсь. Я те поогрызаюсь, звереныш Урольда... Встану! Я те ремнем пройдусь! Наверное, запомнятовала, где он лежит. Ужо подожди...

Но Виолетта, больше не слушая старуху, схватила туфли и вышла из комнаты.

Радость охватила ее. Раз бабушка грозитя, да и "зверенышем" ее назвала — ведь сколько лет она не слышала от нее этого "звереныш Урольда", — значит, есть еще силы у бабулюшки. Вот лекарство б только купить... Как хорошо, что она, Виолетта, сообразила отнести туфли на толкучку Преображенского рынка.

На толкучке Виолетта стояла больше часа, а туфли не продавались. К ней подходили взрослые мужчины и женщины, трогали и даже зачем-то мяли туфли в руках, но когда узнавали цену, то цокали языком, качали головой и начинали упрекать Виолетту в том, что она "дорого дерет и что надо бы подешевле". Что туфли эти, мол, так себе и денег таких не стоят. Предлагали ей цену вдвое ниже магазинной. Но Виолетта очень хорошо помнила цену на лекарство. А туфли она примеряла только по воскресенья, они были совсем новенькие. Поэтому девочка отрицательно мотала

головой, ни на копейку не соглашаясь снизить цену.

— Как-то странно, откуда у девочки такие дорогие и красивые туфли, — вдруг услышала Виолетта над ухом визгливый голос худущей вертявой тетки. Тетка показалась ей старой, ее ярко покрашенный рот обнажал металлические фиксы. — Все-таки интересно, откуда у девчонки туфли, — тетка вертела туфли в руках, то приближая их к себе, то отдаляя. — Девочка, — уже заискивающе проговорила она, — больше семидесяти башмаки не стоят. Даю тебе сто и будем считать, что сделка состоялась. — Тетка уже совала туфли в сумку.

Выхватив их у нее, Виолетта зло выкрикнула:

— А ну, отдынь отсюда, пока нос твой длинный не откусил!...

— Что?! — опешила тетка.

— Отдынь, говорю, — повторила Виолетта.

— Ах ты, мерзавка маленькая, — вертявая тетка ухватила Виолетту за воротник жиденького пальтеца. — Ах ты, хулиганка, оторва уличная!

Тетка орала так громко, что вокруг них образовалась толпа. Подошедшие спрашивали: "В чем дело?" И уже понеслось, что поймали маленькую воровку. А тетка распалялась все больше и больше, крича, что одного ее вида достаточно, чтобы понять, кто она такая. Разве могут быть такие

туфли у такого заморыша? Видно, стащила их у кого-то, а продает за триста. Кто-то уже кричал: "Милиция, милиция!"

В милиции Виолетта долго упорствовала, не называя своего имени и фамилии и места работы матери. Единственное, в чем она сознавалась, так это в том, что туфли куплены на похоронные деньги бабушки, которая сейчас лежит при смерти.

— Теперь и бабушку придумала. Лучше скажи, у кого туфли сперла, — опять завизжала тетка.

Когда Виолетта поняла, что ей без взрослых не обойтись, она дала телефон матери в аптеку.

Александра Ивановна в милицию приехала минут через сорок. Руки у нее тряслись, полные губы дрожали от волнения.

— Что?.. Что... ты украла.. — еле ворочая языком, прошептала Александра Ивановна.

— Вот, полюбуйтесь на свою доченьку, — снова завизжала тетка, — туфли украла!

— Какие туфли?! — Александра Ивановна недоуменно смотрела на дежурного.

— Вот эти, — и он вытащил из ящика стола туфли Виолетты.

Александра Ивановна бросала растерянные взгляды то на туфли, то на дежурного, то на тетку.

— Это же ее туфли...

— Как ее?! — теперь уже дежурный недоуменно смотрел на всех присутствующих.

— Ей их бабушка, мать моя, из похоронных денег купила.

— Вы точно знаете? Это ваши туфли? — недоверие еще звучало в голосе дежурного.

— Конечно, точно! И чек у нас дома в коробочке лежит. Можете к нам пройти, — Александра Ивановна замялась, — только вот мама... мама моя совсем плоха. При смерти лежит... — По лицу Александры Ивановны побежали слезы. — Не знаю уж, как ее беспокоить таким... — она вдруг зарыдала во весь голос, а милиционер засуетился, наливая в стакан воду. Он почувствовал, что эти двое — плохо одетые мать и дочь — говорят правду.

— Гражданка, — насупившись, обратился он к тетке, — почему вы решили, что она украла? Вы что, сами видели?

— В толпе говорили, я и решила задержать, — уже оправдывалась тетка. — Знаете, в толпе ведь не сразу поймешь, кто прав, кто виноват... А я всегда за порядок. Нельзя, чтоб не было порядка.

— Вы все свободны, — устало сказал милиционер. — Можете идти.

Когда они вышли на улицу, Виолетта не удержалась и вслед удалявшейся тетке выкрикнула:

— Вошь размалеванная!

— Леточка, как тебе не стыдно! Что люди подумают?! Совсем как уличная девчонка.

— А я и есть уличный звереныш Урольда. Родила меня, теперь вот мучайся, — проговорила она тоном бабушки Любы.

Слезы вновь побежали по лицу Александры Ивановны.

— Я денег у Лилечки взяла. Не знаю, почему тебе не сказала, — вдруг ни с того ни с сего произнесла Александра Ивановна. — Туфли не будем продавать. Бабушка очень хотела, чтобы они у тебя были. А лекарства нет... — И такая безнадежность прозвучала в ее словах, что Виолетте опять стало обидно за мать.

Что же это такое?! Уже и деньги достала, а лекарства нет.

Сейчас главное, чтобы бабушка выдюжила. А уж когда Виолетта вырастет — она всем покажет.

Они входили в дом, где надо было в первую очередь притворяться, что все идет как полагается.

А недели за две до смерти бабушка едва слышно позвала Виолетту.

— Вот что, внученька, — сказала она. — Я скоро помру. Дай честное слово, что приглядишь за матерью. Она ведь, сама знаешь, бесхарактерная. Пропадет, блаженная...

— Бабулюшка, я и без твоей смерти за ней пригляжу!.. Ты только не умирай. Я правда, пригляжу...

— Я верю тебе, потому еще последний секрет открою. У меня в подушке бумага зашита. Лист. На него. На Урольда. Лилька помогла выправить... Без нужды... Душу-то ей не трави... Еще,.. если пятерки получишь, то в восьмой за пол-цены учиться возмут, — бабушка устало умолкла, а Виолетта, присев на кровать, положила свою голову рядом с бабушкиной и стала ей нашептывать в ухо:

— Бабулюшка, милая! Я тебя очень, очень люблю... Ты только не умирай. Хочешь, наказывай меня хоть ремнем, хоть скалкой — чем хочешь. Только не умирай. Я буду носить одни пятерки. Я на все согласна!

...Бабушка Люба умерла летом, когда Виолетта закончила седьмой класс, сдав все экзамены на отлично. В восьмой ее действительно приняли, потому что она была девочка способная и последнее полугодие вела себя примерно. Половину стоимости ее обучения взял на себя родительский комитет школы.

Смерть матери стала для Александры Ивановны большим горем, чем измена Арнольда.

Вскоре после смерти бабушки Любы Виолетта в отсутствие Александры Ивановны перезашила исполнительный лист из бабушкиной подушки в свою. Теперь, ложась спать, она слышала его легкое похрустывание, и ей казалось, что благодаря ему она однажды станет счастливой.

Как-то Виолетта вспомнила о сводной сестре Анечке, которая, по словам Татьяны Петровны, была послушна, ласкова и очень музыкальна, о самой Татьяне Петровне и главное — о пятерках, "открывающих жизненную дорогу" И неожиданно для себя решила, что школу непременно закончит с золотой медалью, которая откроет ей двери любого института. Надо сказать матери об алиментах и запретить ей ходить к этой выскочке и к ее воображалке. И нечего ей таскать в дом воображалки обноски.

Штапельное платье Татьяна Петровна купила специально для Виолетты, к ее четырнадцатилетию, но передала только осенью. Виолетта отказалась его взять, говоря матери:

— Бегаешь... Самолюбия у тебя нет! Обноски хватаешь...

— Она для тебя в магазине купила, — оправдывалась Александра Ивановна. — Анечка его ни разу не надевала. Вон видишь, даже чек

лежит, — она заискивающе заглянула дочери в глаза и уже с мольбой в голосе проговорила: — Леточка, ты только примерь. Ну хоть разочек. Вот Анечка, что не попросишь — все исполнит. Такая добрая девочка. Услужливая.

— Не хочу. Не нужны мне ее платья. Пусть ваша Анечка любимая и носит, а я — ни за что...

— И в кого ты такая упрямая? — начала всхлипывать Александра Ивановна. — Я бы обязательно примерила, раз меня просят, утешила бы человека. Возле зеркальца бы покрутилась, — она заглянула дочери в глаза, — новенькие туфельки бы обула... — Александра Ивановна бросилась к шкафу.

— Мам, — сказала Виолетта. — Не ходи ты к ним. Ну чего ты травмишь себя, — она холодным взглядом окинула мать. — Дай слово, что не будешь к ним мотаться, тогда примерю. — Виолетта уже забирала над ней власть. — Лучше бы дома занялась чем, а то целыми днями то с книгой завалишься, то у них торчишь.

За то короткое время, что они прожили вдвоем, без бабушки Любы, Виолетта никогда не напоминала матери, что ей теперь необходимо не только заниматься, но и вести все хозяйство в доме: Виолетта жалела больные ноги матери. Правда, белье они сейчас сдавали в прачечную.

Александра Ивановна честное слово дала, но с одной оговоркой: больше ходить не будет, только вот платье снесет. И тогда Виолетта, скинув сатиновое, в котором ходила дома, натянула штапельное, присланное "Анечкой в подарок"

Почему-то Татьяна Петровна, делая иногда подарки Виолетте, присылала их от имени Анечки. Может быть, таким образом она хотела приучить Виолетту к мысли, что у нее есть сестра, которая по мере своих сил заботится о ней. Но эти "Анечкины подарки" с возрастом все больше озлобляли Виолетту.

— Встань на диван, я уж тряпку постелила. Посмотрись в зеркальце... Вон как Анечкин подарок тебе к лицу, — ворковала мать. — Виолетта, глядя на свое отражение в диванном зеркале, видела, что платье ей действительно к лицу, но замечание матери вывело ее из себя.

— И вовсе это не Анькин подарок. Твоя выскочка в магазине купила. У Аньки твоей хваленой еще денег нет, чтобы подарки делать. На, возьми! Отнесешь им! — И она швырнула Александре Ивановне в лицо сброшенное наспех платье.

— А может, все же надела бы обновку, — продолжала стоять на своем Александра Ивановна, — пошли б к ним в гости. Увидели б, какая у меня красавица дочь получилась. Бровки вразлет, как у бабушки, да и глазки ее, серенькие. Волоси-

ки густые... Мои волосики. Еще б косточки жирком обложить... — Шурочка провела рукой по выпирающим ребрышкам дочери. Глаза ее были полны слез. — А ты все грубишь!..

— Ну вот! Опять коровьи глаза состроила, — перебила ее Виолетта, — хватит мокроту разводить. Я тебе сказала, что не буду носить — значит, не буду. Вырасту — куплю. А может, и раньше куплю. Вот отдам лис... И Виолетта прикусила язык, боясь проговориться матери об исполнительном листе.

— Была б я чуть худее, — не слушая ее, продолжала Александра Ивановна, — свое черное надела бы и... к ним в гости, — она слегка зарделась при упоминании о крепдешинном платье, — оно мне в молодости знаешь как шло?! Ох, как бы мне хотелось его надеть, хоть разочек! — Она мечтательно закатила глаза.

В гости к Татьяне Петровне они так и не пошли.

Виолетта все чаще замечала, что мать плачет и грустит по умершей бабушке. К осени Шурочка стала больше лежать на диване и книгу-то брала уж совсем редко. Пустой взгляд матери, такой, как был у бабушки Любы перед смертью, опять пугал девочку. Она грубо задирала мать, пытаясь, как ей казалось, "разбудить" ее.

Помня о просьбе бабушки Любы "приглаживать за Шурой", Виолетта ничего не позволяла матери делать по дому. Нагрубив, она в то же время старалась отвлечь ее от грустных размышлений, подсовывала какой-нибудь сентиментальный роман Жорж Санд, за которым долго гонялась по библиотекам города. Александра Ивановна из всех писателей почему-то отличала больше всего Жорж Санд. Однако с некоторых пор и знаменитая французская писательница перестала ей нравиться.

Виолетта упрекала мать, что та как колода разлеглась на своем диване. Пошла бы лучше к кому-нибудь в гости. Ко всем — к кому хочет. Только не к высочке, конечно.

Но Александру Ивановну тянуло именно туда, потому что больше никто (Виолетта не в счет) ее так близко, как Татьяна Петровна, не связывал с Арнольдом, от одного имени которого у нее все замирало внутри.

Ни с кем не могла бы она так любовно произносить его имя вслух, не вызвав никаких нареканий, и в свою очередь слышать, как Татьяна Петровна, называя его, вкладывает в это имя всю нежность. И в то же время они вместе, друг другу поддакивая, осуждали его за легкомыслие, хвастовство, даже некий аферизм и пройдошливость.

Ругая Арнольда, каждая из них одновременно (про себя) вспоминала и все хорошее, что удержи-

вало их столько лет вместе. И каждой из них, вероятно, казалось, что именно ее любил он больше, но что-то однажды ею было сделано не так, отчего он вдруг охладел. И каждая из них, мысленно возвращаясь в дни своей молодости, перебирая день за днем, старалась отыскать тот день совершенной ошибки, которую с теперешним опытом можно было бы исправить и вернуть все в прежнее русло. Но своими размышлениями они не делились друг с другом, а продолжали разговор о его неверности. Потом беседа переходила к девочкам, которых бы надо чаще сводить — они все-таки сестры.

И вот Виолетта запретила ей ходить к Татьяне Петровне. И она не идет. Даже платье отнести нет у нее сил. Да и озорница ее дочь: взяла и отрезала вчера у спящей матери половину волос. И что ей, Шуре, делать — ума не приложит.

— Хватит пучок носить, — сказала утром, когда Александра Ивановна непонимающе смотрела на свои волосы, лежащие на полу. — Еще не старуха. Давай вторую половину подрежу. Так все равно ходить нельзя. Сделай прическу. Тебе пойдет. Будешь еще лучше той, — имея в виду Татьяну Петровну, закончила Виолетта.

И через неделю после Ноябрьских праздников, когда схлынул народ в парикмахерских, Александра Ивановна сделала перманент.

Виолетта ее не сразу узнала. Ей показалась, что перед ней стоит сама Валентина Серова с такими серыми глазами. У них, Недосекиных, у всех серые глаза. Переводя взгляд на платье и обувь матери, Виолетта поняла, что перед ней совсем не Валентина Серова, а Шура, ее мать. В то же мгновение она услышала, как Шурочка, глянув на себя в зеркало, произнесла:

— Вот бы увидел Арнольд!

— Еще чего?! — возмутилась Виолетта. — Только его и не хватало, — и она снова почувствовала на время забытую ненависть к нему. — Подожди. Я сейчас, — она сорвалась с места и бросилась из дома. Прибежала обратно минут через десять с тюбиком помады. — На, помажься. Я у тети Маши взяла, — скороговоркой проговорила Виолетта о соседке по дому. — Она сказала, что можешь оставить себе. Нет, подожди! Не мажься! Одевай-ка свой крепдешин.

— Ой, что ты, доченька! Я ж в него не влезу.

— Попробуй. Я тебе помогу.

Платье было сшито по моде довоенного образца: рукава с буфами, прямого покроя, с многочисленными пуговицами, обтянутыми тем же крепдешинном, и петлями, застегивающимися на спине.

Шурочка бросилась к шкафу.

Платье, конечно, не сходилось, и Виолетта из всех сил пыталась стянуть его на спине, но Александра Ивановна глаз не могла оторвать от своего пунцового лица в зеркале. Черный цвет очень шел к ее густым русым волосам, серым с полволокой глазам, чуть накрашенным полным губам.

— Мама, — Виолетта вдруг прижалась к ее спине, — а ты лучше, красивше, чем она.

— Чем кто? — смущенно спросила Александра Ивановна. Она ждала, что дочь скажет "эта выскочка", и в предчувствии этого ощущала уже радость, даже благодарность, готовую вот-вот разлиться по телу.

— Чем Валентина Серова.

Услышав такое признание, Александра Ивановна как-то сникла.

— Все, представление окончено. Поздно уже, пора ложиться спать.

Ночью Виолетта проснулась от хрипа, раздающегося с дивана, где спала мать.

Она подскочила к дивану, стала трясти мать за руку, но та не отзывалась и только хрипела, в горле у нее что-то булькало. Виолетта испугалась. Побежала к соседке, тете Маше, у которой еще вечером брала памаду, сказала, что "мама булькает и не просыпается" Тетя Маша, будучи ответственным торговым работником, имела дома телефон.

Она вызвала "скорую помощь" и поспешила за Виолеттой.

Когда приехала "скорая", Александра Ивановна уже умерла. При вскрытии обнаружили, что оторвавшийся тромб закупорил легочную артерию. Видно, так уж распорядилась судьба, что жить Александре Ивановне было отпущено до сорока четырех лет, оставив почти пятнадцатилетнюю Виолетту одну на земле, не считая сводной сестры Анечки.

Александра Ивановна лежала в гробу в своем черном платье, с только что сделанным перманентом. И Виолетта вдруг подумала, что мама очень красива и что она действительно могла быть любима.

* * *

О внезапной кончине Александры Ивановны Татьяна Петровна узнала случайно, позвонив зачем-то в аптеку. Она тут же позвонила Арнольду и сказала, что Шура внезапно умерла и надо бы помочь Виолетте с похоронами. Арнольд ответил, что он плохо себя чувствует, поэтому прийти не сможет, и что скорее всего он "потом как-то проявится" Татьяна Петровна бросила трубку.

Похоронить мать Виолетте помогли сослуживцы Александры Ивановны, Лилия Антоновна и Татьяна Петровна. Она пришла вместе с Анечкой, которая толстыми пальчиками зажимала букетик бумажных цветов с тряпичными зелеными листками. Виолетта стояла около гроба, переминаясь с ноги на ногу, в своих новых рыжих туфлях и в штапельном платье. Отправляя мать в последний путь, Виолетта как бы решила успокоить ту своим послушанием. Виолетта исподлобья поглядывала то на холеную и чистенькую Анечку, то на нестареющую Татьяну Петровну, стоявших чуть поодаль от нее. Виолетта не заметила, как Татьяна Петровна подошла к гробу, нагнулась к голове Александры Ивановны и поцеловала ее в лоб. Но Виолетта увидела, как по лицу матери побежала слеза, упавшая с ресниц Татьяны Петровны. С глазами, полными слез, Татьяна Петровна снова нагнулась к изголовью Шурочки и шепотом запричитала:

— Шурочка! Что же ты наделала? Что же ты наделала? С кем же я теперь буду... — фразу Татьяна Петровна не докончила. Ее душили рыдания. Навсегда ушла из ее жизни соперница и единственный понимавший ее человек.

А Виолетта стояла как истукан, не проронив ни единой слезинки. Отсутствующим взглядом наблюдала за всем окружающим, не понимая, с чего это так убивается эта выскочка. До девочки

не доходили и слова Татьяны Петровны, обращенные к ней. А Татьяна Петровна все говорила и говорила. Наконец девочка поняла, что та предлагает ей переехать к ним жить. Все-таки Анечка ее сестра, и у них совсем другие условия. Не халупа, в которой Виолетта ютилась вместе с бабушкой и Шурочкой. И веселее Виолетте будет. А для нее, Татьяны Петровны, Леточка станет второй дочерью.

— Нет, — буркнула Виолетта, — тут останусь. — А про себя подумала: "Еще чего захотела... Чтоб золошкой у них была. Никогда!"

Хорохорилась Виолетта еще и потому, что подруга матери Лилия обещала опекать ее, как родную дочь. Ведь Леточка родилась и выросла у нее на глазах.

На третий день после похорон Виолетта извлекла исполнительный лист из подушки и отнесла его в ту архитектурную мастерскую, где работал Арнольд. К тому моменту Арнольд, закончивший строительный институт, занимал начальственное положение. В бухгалтерии очень удивились, что такая "молодая, а уже смышленная", понимает, что надо делать. Осуждение своего поступка Виолетта пропустила мимо ушей, даже не огрызнулась, что было ей так свойственно. Холодно посмотрев своими стальными глазами на бухгалтершу, спросила:

— Когда мне приходить за деньгами?

— За деньгами? — рассмеялась бухгалтерша.
— Откуда нам знать, что ты — Виолетта Арнольдовна Недосекова?

— Недосекина, — механически поправила ее Виолетта. Никогда она еще не слышала произнесенных вместе своего имени и отчества. Они звучали для нее странно, казались чужими.

— Ну, Недосекина, — повторила за ней бухгалтерша. — Принесешь метрику и справку из домоуправления. По средам не приходи. По средам ничего не оформляем, — и бухгалтерша, зевнув, отвернулась от нее, как бы подчеркивая, что разговор закончен и Виолетта может идти.

— А когда за деньгами приходиться? — упрямо стояла на своем Виолетта.

— Я же тебе русским языком сказала: принеси метрику и справку. Как принесешь — тогда и поговорим.

— Я хочу знать, по каким числам у меня будут деньги. Мне надо рассчитаться с долгами.

— Господи, ну что ты ко мне привязалась! — От негодования бухгалтерша покрылась красными пятнами. — Сколько раз повторять — справку и метрику надо.

— Я поэтому и спрашиваю, когда приходиться за деньгами. Ведь сегодня же принесу метрику и справку.

— Сегодня не надо, — устало проговорила женщина.

— А когда? Мне надо знать, когда я получу деньги, — казалось, что настырности Виолетты не будет конца.

— За деньгами приходить не надо. Мы тебе будем пересылать по почте. В справке будет указан твой адрес. Будешь получать с доставкой на дом.

— Мне не дадут, — унылость прозвучала в голосе Виолетты. — Мне в марте исполнится только пятнадцать.

— Ладно, — смягчилась вдруг бухгалтерша. — Приноси документы. Будешь получать здесь.

Виолетта, получившая первые алименты, была немало удивлена той суммой денег, которой могла распоряжаться. Такие суммы ни бабушка Люба, ни Александра Ивановна при ней не называли. Виолетта сейчас держала в руках шестьсот рублей. Сумму, в полтора раза больше оклада ее матери.

"И сколько можно всего закупить! И долг тете Лиле отдать, — размышляла девочка, — и скопить, и секретер из мореного дуба купить! И туфли можно носить не жалея. Весной в них в школу буду ходить. Потом еще такие куплю!"

Тут же она завернула в универмаг и купила штапельное платье такого же фасона, как и у нее,

но только большего размера и другой расцветки. В отличие от нее Анечка была девочкой плотненькой, упитаной, с холеными полными ручками. Отличалась еще Анечка от русоволосой и сероглазой сестры цветом волос и глаз, а Виолетта не раз слышала, как Татьяна Петровна, высказывая свой художественный вкус, говорила, что темненьким женщинам с темными глазами "очень к лицу тона зрелой вишни"

Купленное платье состояло сплошь из зрелой вишни. Виолетте уж очень захотелось удивить "воображалу и выскочку" не только своим вкусом, но и некой что ли щедростью души. Прямо из универмага она позвонила Татьяне Петровне и сказала, что хочет прийти к ним в гости.

— Очень хорошо, — услышала Виолетта. — Только если можешь — чуть попозже. Анечка сейчас в музыкальной школе, а затем поедет навещать дедушку с бабушкой. А у меня холст натянут. Надо сдавать работу.

— Так когда же прийти? — нетерпеливо спросила Виолетта.

— Приди к восьми. Захочешь — останешься у нас. А нет — я отвезу тебя домой.

— Ладно, — недовольно согласилась Виолетта.

Придя домой, она попила чаю с бутербродом и села за уроки. О пятерках она теперь не забывала

ни на минуту и стремилась к ним всем своим существом.

Конечно, Анечка платью очень обрадовалась и, конечно, оно ей было к лицу, а довольная Виолетта смотрела на изумленную, ничего не понимающую Татьяну Петровну и была счастлива от слов, произнесенных Аней с напускным безразличием "Подарок от Виолетты"

— Лето́чка, на какие деньги? Откуда у тебя? Еще такую дорогую коробку конфет, трдцать два рубля! — прочитала Татьяна Петровна цену на картоне коробки. Виолетта к платью вдобавок купила шоколадный набор, который сама еще никогда не пробовала. Но тут уж денег она не пожалела.

"Это вам не обноски", — горделиво подумала она.

А Татьяна Петровна задавала один и тот же вопрос, на который Виолетта не отвечала и только интригуяще улыбалась.

— Нет, откуда у тебя деньги? Всего полтора месяца прошло, как мама умерла. Ее же хоронить не на что было. А у тебя конфеты...

— А у меня конфеты, — самодовольно подтвердила Виолетта. — Еще не то будет! — И ее словно что-то подхлестнуло, будто в душу вселился бес, она залихватски озорно выкрикну-

ла: — Анька, хошь часы?! Я тебе в следующем месяце куплю.

Самые дешевые, только что появившиеся в продаже часы "Звезда" стоили пятьсот рублей, и достать их было трудно. Но Виолетта уже знала, что если она чего-то захочет, то непременно добьется. У нее в ушах неожиданно зазвучал голос сестры, уже несколько месяцев клянчившей у Татьяны Петровны часы.

"Принесу им часы во что бы то ни стало! Буду голодать, а часы куплю", — решила Виолетта.

У Анечки от Виолеттиного обещания загорелись глаза, полные щеки от возбуждения зарумянились, и она недоверчиво спросила:

— Правда купишь?!

— Ей-богу, куплю. Вот те честное слово, куплю. Деньги получу и куплю.

— Виолетта, — строго произнесла Татьяна Петровна, — я прошу, я просто требую сказать — откуда у тебя деньги? Я не могу слышать этого вздора про часы. Зачем ты ей морочишь голову? Ты же все-таки старше. Она и так занимается, — и вдруг спохватившись, что может сказать что-то не то, Татьяна Петровна проговорила, — она занимается очень хорошо, но... за это ей надо делать подарки. Часы я ей обещала купить после окончания восьмого класса. И она знает, что за восьмой получит часы. Когда закончит десятый — бабуш-

ка подарит ей колечко. Анечке в институт надо поступать. А ты все срываешь. Так все таки откуда у тебя деньги?

Виолетте больше не хотелось интриговать их, и она вяло проговорила:

— Получила с Урольда алименты.

— Как ты его называешь? — взвилась Татьяна Петровна. — Он ведь твой отец, понимаешь, отец и у него есть имя — Арнольд. — Виолетта вдруг услышала что-то вроде попискивания. Посмотрев на Анечку, она увидела ее скорчившееся в гримасе личико. Анечка изо всех сил зажимала себе рукой рот, чтобы еле сдерживаемый смех не вырвался наружу. — Представляешь, — продолжала Татьяна Петровна, — когда вырастешь, тебя будут звать Виолетта Урольдовна. Как? Хорошо это?

— Ну и что? — невозмутимо принесла Виолетта. — Я уже привыкла.

Когда Виолетта уходила, ее позвала Аня.

— Леточка, подожди. Я забыла у тебя кое-что спросить, — она затащила Виолетту на кухню. — А ты здорово придумала это — Урольд! — восторженно хохотнула Анечка. Затем, посерьезнев, с надеждой посмотрела на Виолетту: — Так ты точно купишь?

— Я сказала, что точно, значит — точно. Ты ей не говори. Мы с тобой вместе пойдем в универ-маг.

— Я к тебе после школы прибегать буду. Ладно? Ты с него... с Урольда-то, — она опять хохотнула, — правда алименты получаешь?

— Правда.

— Так я к тебе приходиться буду, — еще раз повторила Аня.

— Как хочешь, — равнодушно ответила Виолетта.

Когда Виолетта и Татьяна Петровна, вызвавшая ее проводить, подходили к одноэтажному каменному домику, они заметили одиноко маячившую вдалеке мужскую фигуру. По мере их приближения к мужчине лицо Татьяны Петровны вытягивалось, становилось беспокойным. Татьяна Петровна еле слышно пролепетала: "Это он!" — и схватила Виолетту за руку.

Виолетте показалось, что перед ними стоит старик. Он был грузноват, довольно крупный, с мясистым утиным носом. Его маленькие глазки бежали из стороны в сторону, будто что-то пытались скрыть. На голове красовалась серая фетровая шляпа, под мышкой он держал коробку.

— Это ты?! — глаза Арнольда засуетились еще больше, перескакивая с Татьяны Петровны на Виолетту. Татьяна Петровна от волнения не могла вымолвить ни слова. Неожиданным порывом ветра шляпу сдуло с головы мужчины, и Виолетта увидела бритую маленькую голову, которая ни-

как не подходила к его крупному телу. Татьяна Петровна бросилась бежать за шляпой, а Виолетта во все глаза смотрела то на легко бегущую Татьяну Петровну, то на старика, стоящего перед ней. Наконец Татьяна Петровна настигла шляпу, схватила ее и вернулась к ним.

— Вот, надень, а то простудишься. — Татьяна Петровна ласково посмотрела на Арнольда. — Леточка, познакомься. Это твой папа.

— Урольд, что ли? — резко произнесла Виолетта.

— Ну что ты такое говоришь? — поморщилась Татьяна Петровна. — Аринька, — вдруг услышала девочка незнакомое имя, — что ты здесь делаешь? Случайно или специально? Леточка у нас сегодня была, — она словно оправдывалась перед ним за свое присутствие здесь.

— Я к Виолетте, — ответил Арнольд. — Потом и к вам приду в гости. Решил дочерей навестить.

— А я вам вовсе не дочь. Я... мамина дочь, — перебила его Виолетта.

— Она на алименты подала, — продолжал Арнольд, не обращая внимания на слова Виолетты. — Хочу с ней поговорить. Может, в дом пригласишь? — он неестественно улыбнулся.

— Говорите здесь.

— Здесь так здесь, — безвольно согласился Арнольд. — Я тебе вот куклу принес. Мама твоя, — пояснил он, — когда в санаторий ко мне приезжала, сказала, что куклу тебе хочется. Я сегодня вспомнил. Вот купил. С закрывающимися глазами. Возьми, — и протянул ей коробку.

— Вы забыли, сколько мне лет. Я давно не играю в куклы, — ответила Виолетта. — Подарите еще кому-нибудь.

— Аринька, не стой на ветру. Опять простудишься. Давай зайдем за дом, там не так дует, — снова захлопотала Татьяна Петровна, а Виолетта наблюдала за ней и думала, что та как курица кудахчет на насесте.

— Твоя мама ни за что не подала бы на алименты, — не успокаивался Арнольд. — Зачем ты меня позоришь? Я бы тебе и так начал помогать. Вот Анечка же не подает...

— И никогда не подаст, — горделиво приосанилась Татьяна Петровна.

— Возьми лист, я тебе сам буду давать, — уговаривал Виолетту Арнольд. — Закончишь школу, я тебе и работой помогу.

— Не возьму, — зло проговорила Виолетта. — Мне учиться надо. В институт поступать. Мамины долги отдать надо. Может, еще и Аньку...

— Что?! Что?! — возмутилась Татьяна Петровна. — Про Анечку забудь. Анечка не такая, ей

ничего не надо. У нас все есть. Она очень хорошо понимает, кто ей все сделает в жизни. А он больной, понимаешь, больной!.. Его жалеть надо...

— Вот вы и жалейте! — надрывно выкрикнула Виолетта и, отвернувшись от них, пошла к домику.

Слова Татьяны Петровны больше не доходили до нее — она их не слушала. Только сейчас Виолетта поймала себя на мысли, что ее ненависть к Арнольду и неприязнь к Татьяне Петровне куда-то улетучиваются, уходят из ее жизни. Он стал ей безразличен.

Но повзрослев, она всегда называла себя Виолеттой Арнольдовной, чтобы никогда не забывать о судьбе матери и об Арнольде, соединившихся навечно только в ее имени и отчестве.

Верка — дурочка.

— Эй, Окурок, измылился что ли? Связать не можешь, мать твою так! Лапы вяжи. На, чтоб крепче было!

Я увидела, как Борька кинул Витьке еще кусок бечевки. Витька, зажав кота Верки-дурочки между ног, старался его связать. Но огромный ангорский кот неистово орал, царапал Витьке руки.

Наша кодла (то есть, Борька, Витька и я) забралась в подвал, в котором еще недавно находилась контора пожарного надзора. Сорвав с петель замок, мы оказались в одной из комнат. На полу валялись ненужные бумаги, какие-то электрические схемы и забытая амбарная книга.

Поставив на подоконник маг, я вместе с певицей пела песню про Робинзончика. Песня мне понравилась и я, притоптывая ногой, слегка покачивалась в такт музыке. Дымок от сигареты, которую я докуривала за Борькой, устремлялся вверх и там терял свои очертания.

Я была счастлива, что докуривала Борькину сигарету. Мне в этот момент казалось, что вместе с недокуренной сигаретой он какую-то частицу себя передал мне. И, когда, будто случайно, раскачиваясь, я прижималась к Борьке, все во мне замирало от восторга. И сердце подобно сигаретному дымку устремлялось ввысь.

Меня охватывала гордость — Борька мой и больше ничей! С ним так замечательно мотаться допоздна по городу, ходить в обнимку, и целоваться, целоваться тысячу раз подряд. Борька находчив, за словом в карман не полезет. Ему все нипочем, он ведь никого не боится. Приемы карате придают ему уверенность в себе. О Борькином бесстрашии говорят его глаза. Взгляд их холоден, в нем стальная победоносность. Когда мы идем по улице, Борька так смотрит на встречных, что нас стараются обойти. Это тоже мне очень нравится. И металлический браслет на правом запястье, и металлические бляшки на его куртке. И то, что он длинноног и светловолос. Чем-то напоминает викинга. Вернее, мне кажется, что викинги были

именно такими. В общем, что надо! Он — мой супермен!

— Чувындра, что стоишь, зенки разинула?! — вдруг откуда-то издалека обрушился на меня надрывный вопль Витьки. — Кот драпу дает, а она...

Я буквально упала на кота и прижала его к полу.

— Ну, чувындра, молодец, зажала старика, — теперь уже в голосе Витьки звучит почти восхищение.

Жаргон в нашей коdle считается шиком. Я не удивляюсь, что Витька назвал меня "чувындрой", хотя и не могу вспомнить, почему они с Борькой прилепили мне такую странную кличку. Но мне прозвище это казалось высшей похвалой и признанием. Даже приятно, что Витька подхватил его вслед за Борькой. Уж так получается, что Витька все подхватывает за ним. И словечки, и жесты. И рукой машет точь-в-точь как Борька. Так же морщит лоб, пытаясь изобразить задумчивость. И даже тренирует взгляд, чтобы был колючим и бесстыжим. Никогда не перечит Борьке.

Едва Борька заикнулся про кота Верки-дурочки, можно сказать, только кинул идею — мол, коты ее изгадили подъезд, как Витька быстренько научился мяукать, да еще с такими переливами, что его мяуканье невозможно отличить от насто-

ящего кошачьего. Полчаса назад он так размяукался на первом этаже возле Веркиной квартиры, что старуха, вероятно, и впрямь подумала — кто-то из котов нечаянно остался на улице, а теперь домой просится. Верка открыла дверь и, конечно, не уследила — пушистый ангорский кот выскочил на волю и бросился к парадному. Тут-то я его схватила, запихнула в адидасовскую сумку и прижала к груди.

— Кис-кис-кис, — спрятавшись в тамбуре между дверей, услышали мы с Борькой писклявый голос Верки-дурочки. — Котинька, родненький, заходи, заходи, — предлагала Верка.

Но, вероятно, и другие кошки, почувствовав волну чистого уличного воздуха, бросились к двери, потому что Веркина дверь захлопнулась, и до нас донеслось ее разочарованное: "Показалось, видно"

Наконец, Витька обмотал передние лапы кота бечевкой, но тот продолжал орать, и его крик мешал мне слушать певицу. Тогда я одной рукой сжала коту рот, другой притянула к себе, чтобы Витьке было легче связывать задние лапы.

— Сейчас мы тебя повесим, — пригрозил Витька. — Пора рассчитаться. Может и не ты виноват, а сородичи твои. Но кому-то надо отвечать. Все! Застолбили деда, самодовольно произнес Витька, любуясь котом, привязанным к батарее.

Потерев о джинсы влажные руки, Витька с присвистом, сквозь зубы, смачно сплюнул на пол и улыбнулся. Улыбка была мягкой и даже застенчивой.

"А он и вправду похож на окурок", — подумала я, бросив взгляд на бахрому джинсов, болтающуюся вокруг его щиколоток, на вечно сальные волосы, на черноту под ногтями. В этот момент он мне показался противным, Борька — совсем другой. И мне захотелось обнять Борьку. Я прижалась к нему, положила голову на плечо и прикрыла ресницы, потому что солнце, опускавшееся за горизонт, било прямо в глаза. От Борькиной близости, от тишины, вдруг окутавшей нас, я почувствовала блаженство, разливающееся по телу. Сделалось вдруг легко и радостно. Борька стал целовать мою шею, глаза, нос, и, слегка поглаживая по голове, приговаривал маминым голосом:

— Проснись, проснись! Уже поздно.

Мне было так чудесно, что не хотелось поднимать ресницы. Чувствовала, как он нежно взял мое лицо обеими руками и опять начал осыпать его поцелуями. Неожиданно я перестала ощущать прикосновение Борькиных рук, голос его доносился издалека:

— Ну хватит спать, проснись.

Сердце бешено заколотилось. Я в испуге открыла глаза. Надо мной склонилось улыбающееся

лицо мамы. Улыбка была заискивающая, неестественная. Я снова сомкнула ресницы.

— Вставай, капуня, — совсем близко раздался ласковый сюсюкающий голос.

"Где же Борька?" — тревога охватила меня. Я отчетливо поняла — все это мне приснилось. Не было кота, не было Витьки и не было Борьки.

— Ну, соня, вставай, — мама тормозила меня за плечо, пытаясь при этом сорвать одеяло, которое я изо всех сил тянула на себя. Но мама не сдавалась. Сейчас меньше всего мне хотелось видеть и слышать именно ее. Не открывая глаз, я дотянулась до тумбочки, где стоял маг, и рок Элвиса Пресли ворвался в комнату.

Пленку я достала несколько дней назад. Вообще-то, Пресли мне не очень нравился. Но где-то я подспудно помнила рассказ мамы об американском певце. Однажды за обедом она расписывала как они все "были помешаны на Элвисе", а Андрей — мамин любовник, обедавший с нами — даже пропел несколько тактов из рока, который был популярен в то время. Без него никак нельзя. Вот я и достала кассету с роком, от которого мама когда-то пришла в замешательство. Пускай еще побалдеет.

Сейчас голос Элвиса огромной свинцовой гирей повис над нами. Мама не хотела "балдеть". От неожиданности она выпустила одеяло.

— Танька! Ты что? С ума сошла? — воскликнула она. — Люди только на работу собираются, а у тебя уже веселье.

— Почему ж ты не собираешься?

— У меня больничный.

— Вчера вечером ты была здорова, — я всеми фибрами души ощутила злорадство в своем голосе и тошноту. Тошнило меня по многим причинам. От того, что я беременна, что мама завела любовника, что папа ушел к другой женщине, что... было еще много причин для тошноты.

"Видно, Андрей вот-вот придет, потому и выпроваживает поскорей в школу. И больной притворилась, чтобы подольше побыть с ним", — мозги мои набекрень, еще немного и свихнусь.

Маме сорок три года, но выглядит довольно молодо. Очень живая, энергичная и, как сейчас говорят коммуникабельная. Есть в ней некая легкость, которая и делает ее молодой. О том, что в маме живет эта легкость, я впервые услышала от Борьки. Не помню в связи с чем зашел этот разговор (может быть, я слишком подробно, до самых мелочей, рассказываю ему о нас с мамой, ведь от Борьки у меня никаких секретов), но тогда он непонятно почему вдруг изрек:

— Носится с такой легкостью, как твоя Светочка... Не тот возраст. Порхает, словно мотылек.

Когда заходит разговор о маме, Борька всегда называет ее "Светочка" Но я на Борьку не обижаюсь, мне даже льстит, что он называет ее так по-свойски. И когда он сказал, что мама слишком легка, я тоже не обиделась, а стала приглядываться к ней.

Андрей, наверно, и в самом деле придет раньше, чем обычно, потому что мама не на шутку разнервничалась. С тех пор, что она встречается с Андреем, только один вечер Андрей провел в нашем доме. Мне кажется, это больше бесит меня, чем маму. Я вообще по натуре максималистка. Если он так любит маму, почему не бросит свою жену? Как это сделал папа. Ведь папа ушел от нас! Да я и по себе знаю, что Борьку никому бы в жизни не отдала. Как-то спросила маму: "Почему Андрей не переходит жить к нам?" и мама ответила: "Андрюша очень хороший отец, любит своих детей, — какую-то долю секунды молчала, а потом произнесла, — и меня тоже любит"

Мне в тот день показалось, что мама оправдывает Андрея не сколько предо мной, сколько перед собой.

Андрей приходит к нам обычно в обеденный перерыв. Служит он почти рядом с нашим домом. Может быть, именно это делает его приходы чуть

ли не ежедневными. Мама, работая начальником отдела, всегда придумывает причину, по которой задерживается после обеда. Я не раз слышала, как она звонила "своим девчонкам" взрослым женщинам (некоторые даже пенсионерки) и без запинки сообщала, что она, мол, в главке или вышестоящей организации, будет позже — надо заскочить еще домой пообедать.

"Девчонки", видно, догадывались или, может, просто знали почему ее не будет и отвечали в тон ей шуточками, а мама начинала тут же неестественно смеяться, отчего мне становилось противно.

И еще сейчас я вспомнила, как месяца три назад мы с Борькой отправились к одному пацану послушать пленки. Это потом уже выяснилось, что Борка неправильно записал номер квартиры, а тогда я нажимала кнопку звонка и все во мне кейфовало — вот-вот услышу любимого Майкла Джексона.

Дверь открыла белобрысая молодая женщина в наимоднейших джинсах и кофте ангора. О таких джинсах я даже мечтать не смела. Мама тоже хочет "варенку" О ее мечте я тут же рассказала Борьке.

За женщиной выбежали мальчик лет пяти и девочка лет девяти такие же белобрысые. Тоже все в фирме. Пока мы в холле выясняли адрес, появился... Андрей. От удивления я чуть не выронила маг, с которым почти не расстаюсь. Удивило

меня даже не столько появление Андрея, сколько вид его. В длинном махровом халате он смотрелся вальяжно, даже барственно. Был сыт и доволен собой. Но что больше всего меня двинуло, так это его глаза — они искрились покоем и радостью. Мама считала, что он ее любит, но, когда Андрей приходил к нам, таких искрящихся глаз у него не было.

В следующее же мгновение самодовольство и барственность Андрея испарились. Он остолбенел, его глаза беспокойно забегали.

Когда дверь за нами закрылась, я едва слышно произнесла:

— Вот он хороший семьянин.

— Что-что? — не понял Борька.

— Это хороший семьянин, — зло проговорила я и указала глазами на дверь.

— А-а-а, — протянул Борька. Я почувствовала, что он понял о ком я говорю. Понял, кто этот вальяжный мужчина — ведь от Борьки у меня нет секретов.

— Ясно теперь, почему "варенку" ей приспичило. Хахаля надо держать. От твоей Светочки чего хочешь можно ждать, — Борька усмехнулся.

— Хахаль-то моложе. Мужуку не больше тридцати. Ну и Светочка, ну и Светочка, дает жизни!

— Ну, все, хватит, вставай, — опять слышу голос мамы.

А я лежу и думаю: кого я больше ненавижу? Маму или Андрея? Когда он к нам приходит, мама суется вокруг него, старается накормить получше, а он сидит развалившись, причмокивает от сытости, ковыряет спичкой в зубах — и плевать ему на мою ненависть или любовь!

С его появлением в нашем доме мама стала зажимистее. Я прошу новые сапоги, но мама говорит: "Нет денег" И мол, если мне так хочется сапоги, надо продать магнитофон. А как я продам маг, если вся моя жизнь заключается в нем и Борьке? И потом... Это подарок папы! На день рожденья.

Спросив о болезни, я выжидательно, с ехидцей, смотрю на маму.

"Посмотрим, как ты начнешь выкручиваться", — думаю я и неожиданно для самой себя у меня вырывается:

— Я тоже заболела. Горло болит. В школу не пойду.

— Пойдешь как миленькая.

Вижу мама заводится. Ее свидание на грани срыва. А горло у меня и правда побаливает, но не так, чтобы не идти в школу.

— Всю жизнь на тебя положила. Чтобы одета была не хуже других, чтобы не нуждалась ни в чем! А ты как приبلудная, только к ночи и приходишь! В твои...

Мама кричит. Мне уже осточертел ее повизгивающий голос, ее обвинительная речь. Чтобы не слышать маму, я врубаю магнитофон на полную катушку. Элвис Пресли уводит меня все дальше и дальше от маминого голоса, от нашей квартиры, от проблем, которые навалились.

Тошнота, подступившая к горлу, незаметно отступает. Я продолжаю лежать, бессмысленно уставившись в потолок. Затем представляю, как мы с папой, держась за руки, входим в магазин. Он вынимает сто тридцать рублей, платит в кассу и покупает мне замечательны красивые австрийские сапоги. Я тут же их надеваю и выхожу из магазина. Навстречу идет Борька и не может оторвать глаз от моих длинный ног в красных сапогах.

"Борька" Я мысленно произношу это имя и тут же отчетливо понимаю, что ни меня, ни красных сапог он не увидит. Не увидит, потому что избегает встреч со мной. Месяц как я беременна. Обещал помочь с абортом, но вот уже неделю как слинял. Борька на два года старше меня. Осенью мне стукнет шестнадцать. Что же делать? Так не хочется идти в школу. Вдруг наступает тишина. Оказывается, мама нажала кнопку "стоп"

— Скажи для чего ты живешь? Какой смысл в жизни у таких как ты?

Хотя мама смотрит на меня очень серьезно, мне смешно ее слушать.

"Господи, какой еще смысл нужен ей в моем поколении?! В ее-то жизни был смысл?"

Сколько я себя помню, мама всего боялась. Боялась опоздать на работу, боялась шума, боялась тишины. Мне кажется, когда она ругает меня и мое поколение — это тоже страх. Гнули тупо спину как рабы, а теперь еще хвалятся, что всю жизнь "вкалывали"

Конечно, о маминой растроганности своим поколением я тоже рассказала Борьке. И помнится, что Борька тогда сказал: "Зачем было так жить? Пользы не вижу. И гармонии никакой"

— А в твоём хваленom поколении был смысл?
— спрашиваю я у мамы.

— Разумеется. Мы всю жизнь работаем. Без передышки. В войну...

— Положим, в войну ты еще не работала. Родится успела в конце войны.

— И все равно — была частью этой войны. Она стала моим учителем, наставником в определении жизненных ценностей. Поэтому и после войны работали без передышки. И сейчас работаем.

Меня разбирает смех. Но я сдерживаюсь.

— В нашем тоже есть смысл.

— Какой же?

— Наблюдать, — я повторяю Борькины слова. Он ведь у меня можно сказать просто философ. Сколько читает — маме и не снится.

Мама недоуменно смотрит на меня.

— Да, да наблюдать, делать выводы и исправлять ваши ошибки.

— Ошибки? — мне кажется маму сейчас хватит кондрашка.

Но я жму дальше.

— А как же? Ваша беспечная демагогия, ложь и при этом благодушие и наивность. Пора восстановить нарушенную гармонию. Хотя бы частично. Нормальная семья в твоём поколении уже редкость. Да взять нас с тобой...

Я не успеваю закончить фразу. Мама с силой швыряет мне на постель магнитофон:

— Это у тебя гармония! Это заменяет тебе наивность! Я не удивлюсь, если ты скоро станешь, как Верка-дурочка! У нее уже открылся сезон!

Когда мама хочет привести пример глупости, человеческой никчемности, она всегда вспоминает соседку с первого этажа, за которой, неизвестно с чьей легкой руки, закрепилось имя Верки-дурочки.

Мама даже не подозревает, ей и мысли такой в голову не приходит, что Верка-дурочка стала для меня недавно Верой Николаевной.

Вера Николаевна живет на первом этаже в моем подъезде. Окна ее однокомнатной квартиры выходят во двор, а так как войти в подъезд можно только со двора, то многие жильцы с ранней весны и чуть ли не до поздней осени слышат одну и ту же мелодию, льющуюся из открытого окна Веры Николаевны. Вообще-то летом в нашем дворе услышишь любую музыку. По ней можно судить о вкусах и кумирах сегодня. Только музыкальная привязанность Веры Николаевны осталась неизменной, постоянной.

Сколько я себя помню одна и та же пластинка, вернее песня, крутилась на ее стареньком патефоне. Интересно, как она умудрилась сберечь патефонные иголки? Они совсем не затупились. Или, может она их в свое время накупила впрок?

Лет Вере Николаевне, наверное, около семидесяти, а может и больше. Короткая стрижка, небольшого роста, очень худенькая, неряшливая.

Но что больше всего поражало мое воображение, так это ее глаза. Чтобы что-то разглядеть ей приходилось прищуриваться, но непонятная живая теплота исходила из глаз. Одевалась Вера Николаевна допотопно. Как на старых фотографиях, еще с довоенных времен. Например, зимой носила фетровые ботинки или коротенькие бурочки, а летом — белые спортивные тапочки с носками. Тапочки были узконосые с синей каемочкой, ремешок их застегивался на пугвичку.

Порой мне не давала покоя мысль, что тапочки, как и патефонные иголки, набрала она тогда тоже впрок. В общем, Вера Николаевна выглядела нелепо и смешно. Может быть поэтому и вызвала пренебрежительное недоумение окружающих. Вполне вероятно, что именно от такой нелепости, несоответствию действительности ее и прозвали Верка-дурочка.

А, может от того, что с наступлением теплых дней, когда Вера Николаевна открывала окна — "сотни юных бойцов из буденовских войск" заполняли наш двор.

Недавно я узнала, что у Веры Николаевны был сын-каскадер. Да и откуда мне было это знать? Вера Николаевна поселилась в нашем доме лет пятнадцать назад, сын жил самостоятельно. Конечно, мама мягка и коммуникабельна, но ее в принципе, мало что на свете трогает, кроме Андрея.

Прошлым летом маме неожиданно пришлось везти детей из пионерского лагеря. Она спешила домой — обещал звонить Андрей. Да так торопилась, что забыла взять одного пионера. Надо было слышать как возмущалась мама, когда отец мальчика искал своего мальчишку.

Итак, к Вере Николаевне я попала случайно. Вот уж никогда не думала, еще три дня назад, когда убежала с уроков, что все накопившееся у меня в душе, смогу ей доверить.

Убежала с уроков, и у двери обнаружила, что забыла утром взять ключ. Но мама должна была быть дома, накануне вечером договаривалась о встрече с Андреем. Я уже придумала, что соврать маме: скажу — идем на экскурсию в музей. Нажала на звонок. Но никто дверь не открывал. Я звонила не отрывая пальца от кнопки звонка. Дверь не открывалась. Стала стучать ногой в дверь. Воздух содрогался от моих ударов, пыльным столбом поднимался вверх. Грохнув сумкой о дверь и не дожидаясь лифта, я бросилась бежать с седьмого этажа вниз по лестнице.

Позвонила Борьке. Несколько дней подряд его мама повторяет мне одну и ту же фразу: "Бореньки нет дома"

Гудок, второй, третий...

— А, это ты, Таня! Бореньки нет. Запустил занятия. Теперь наверстывает. Тебе тоже надо бы позаниматься. Ведь следующий год у тебя выпускной. Может тебе аттестат не нужен?

— Но позвонить-то он мог бы! — выкрикнула я и швырнула трубкой по рычагу. У меня перед глазами встала низкозадая, коротконогая фигура Зинаиды Алексеевны с торчащим вперед животом, она бубнила, будто не знала других слов:

— Слышишь, скажи ей (т.е. мне), чтобы не хамила и трубки не бросала! Слышишь? Нет, ты меня слышишь? Нет, ты мне скажи, что слышишь!

"Так ей стерве и надо, — подумала я, — учить вздумала! Мне и мамы хватает"

Затем я бесцельно шаталась по улицам, заходила по магазинам. Посмотрела два фильма и даже попала на выставку кружев. Своими узорами они, можно сказать, меня примагнитили. Каким же терпением надо запастись, чтобы не день и не два вязать узелочек за узелочком ради этого воздушного чуда? Вот у меня чего нет, так это терпения. Может, потому так противно на душе? Уж если чего-то захотелось — вынь и положь. А чтобы ждать?! Нет увольте! Я на это не согласна. Так можно всю жизнь прождать... Вон, мама ждет Андрея, а он что-то не торопится к ней.

После выставки я тут же забыла о маме. Меня, в общем-то, волновало совсем другое. По городу я моталась чуть не до полуночи. Когда подходила к дому, часы на площади показывали начало двенадцатого. Бросив взгляд на окна нашей квартиры, я увидела сквозь тюлевую занавеску маму и Андрея. Они стояли обнявшись, прижавшись друг к другу и о чем-то говорили. Мне снова охватила злость.

"Я ей не нужна, — пронеслось в голове, — она на меня плюет. Обнялась, а что со мной, — начхать"

Мне казалось, что я вломлюсь в квартиру и скажу маме все, что о ней думаю. У меня было только одно желание — сделать им больно. Я

представила, как буду унижать их друг перед другом. Как скажу, что ненавижу Андрея, ненавижу ее. Что презираю их. Но лифт стоял на последнем этаже и, когда он опустился на первый, идти домой расхотелось. Я опять вспомнила о Борьке... Поняла, что никому не нужна. И меня охватила жалость к самой себе.

Сейчас даже кажется, что в тот момент я не то, что рыдала, а просто выла от бессилия и жалости.

И вдруг моя голова оказалась на чьей-то груди, кто-то ласково водил пальцами по волосам. Я не сразу сообразила, что это Верка-дурочка. Мне было так плохо, что я и не пыталась вырваться из ее объятий. А она, глядя меня то по волосам, то по спине, приговаривала:

— Девочка моя, успокойся. Не плачь. Звездочка ты моя.

Я никогда не слышала так близко ее голоса — мягкого, теплого.

Она продолжала гладить меня, а я все крепче прижималась к ней, вслушиваясь в успокаивающие звуки ее голоса. Всклипывая все реже и реже, боялась пропустить хоть слово.

— Ну прижмись, прижмись. Сейчас мы эти ясные глазки умоем, вытрем. Никому не дадим их в обиду. Такие глазки должны сиять. Ах, какие глазки!

Ее слова успокаивали, даже убаюкивали. От ее слов, ей-богу, мне становилось легче и я, приподняв голову, улыбнулась.

— Ну что? Пойдем умоемся? Молодой девушке не надо стоять одной на лестнице.

Она крепко обняла меня за плечо и ввела к себе в квартиру. Вера Николаевна вошла первая, поэтому не заметила, как я недовольно потянула носом — слабый кисловатый запах пропитал, казалось, каждую молекулу воздуха. Дома у Веры Николаевны я очутилась впервые. Плохо соображала тогда и почти ничего не замечала.

Спроси меня, какая прихожая у Веры Николаевны, не смогу описать, но двух пушистых серых котов запомнила. Они сидели на ящике с обувью, настороженно присматривались ко мне, глаза их то превращались в узкие зеленые щелочки, то расширялись до черного равнодушия. В это время горделиво прошествовал из комнаты в кухню третий, необычно красивый рыжий кот с белыми подпалинами. Не обращая на меня внимания, он остановился около хозяйки, выгнулся, потерся об ее ноги и продолжил свой путь.

Впрочем, в ванной, куда Вера Николаевна легонько подтолкнула меня, я уже стала замечать кое-какие детали. Помню старое-престарое зеркало на стене: до того старое, что амальгама кое-где поистерлась и сквозь прозрачное стекло проглядывала серая стена.

Я умылась, сполоснув несколько раз лицо холодной водой. Утерлась свежим махровым полотенцем, которое мне протянула Вера Николаевна, перед этим деликатно постучавшая в дверь. Потом посмотрела на себя в зеркало: щеки разгорелись, стали пунцовыми. Глаза блестели. Я себе понравилась.

Пока Вера Николаевна на кухне готовила чай, я прошла в комнату. Во всем была какая-то запыленность прошлого и бедность настоящего. На одной стороне черным пятном выделялся огромный буфет, рядом с которым водрузился кованный сундук с разложенной на нем постелью. Я поняла, что Вера Николаевна спала на сундуке, так как ничего другого, на чем можно было спать, в комнате не было. Посреди стоял круглый обеденный стол и четыре венских стула с узкими спинками, а еще то ли маленькая тумбочка, то ли ободранная этажерка, на которой едва уместился телевизор КВН с линзой. Тут же приютилась высокая табуретка, на ней — патефон.

Я начала рассматривать развешанные по стенам фотографии в старинных рамках. Вдруг мое внимание привлек листок бумаги, приклеенный прямо к стене, около буфета. Таких буфетов ни у кого из своих знакомых я не видела. У нас дома красовалась югославская стенка, за которой мама гонялась чуть ли не два года. Ей казалось, что с этой стенкой в нашем доме, наконец, наступит

покой и счастье. Может быть, ей казалось, что стенка навечно приворожит Андрея? Не знаю, но вполне вероятно, что такое ей могло придти в голову.

Так вот этот листок на стене привлек мое внимание. Подойдя ближе, я увидела, что это были стихи. И стала их читать:

*Плачет ветер в брошенной качалке,
Все вокруг в осенней сонной мгле.
Мокрые задумчивые галки
Шаркают устало по земле.
Окна — мертвые. Черна гнилая крыша.
Молоток и гвозди б разыскать...
Но хозяин умер, а не вышел
Воздухом осенним подышать.
Дверь скрипит, забор совсем изломан,
Голосов не слышно по утру.
Дом стоит, как "в землю вкопан",
Охраняя осень на ветру.
Но мне хочется поверить в чудо,
Бездыханность холода сломать
И представить: журавли летят к нам с юга,
Чтоб скорее лето здесь встречать.*

Под стихотворением надпись: "Замечательной прекрасной хранительнице моего сердца, заступнице перед вечностью. Петр Корневский"

— Сейчас, мой ангел, мы с тобой наберемся сил, стряхнем все ненужное и прикоснемся к чуду. Мы взлетим.

Я недоуменно смотрела на Веру Николаевну, которая стояла около круглого обеденного стола, держа на вытянутых руках чашки с блюдами. Чашки слегка позванивали, аромат чая разносился по комнате. Ее обращение, такое необычное, ее слова вызвали во мне оторопь.

— Да, да, — повторила Вера Николаевна, не замечая моего замешательства, — сейчас освободим душу и взлетим. Когда душа свободна, она всегда в полете. Превратимся в птиц. Вот так.

Она вдруг распрямилась, подтянулась, подавалась вперед, будто готовясь к разбегу, и мне действительно показалось, что она оторвалась от пола. Я чувствовала, что зрачки расширились, глаза застилает туман еще немного, и я просто упаду. Состояние такое, вероятно, длилось секунды.

— Садись, будем чай пить, — я уже слышала, как льется кипяток из чайника, стук ложки о розетку — Вера Николаевна накладывала мне клубничный джем. Но я еще никак не могла отойти от виденного — одна мысль буравила мой мозг: оторвалась она от пола или нет?

А Вера Николаевна, как ни в чем не бывало, мягко улыбалась и ее карие глаза излучали тепло.

Когда мы пили чай, я все время подозрительно заглядывала под стол, не поднимается ли стул под Верой Николаевной, но он стоял на месте. Я думала, что делала это незаметно. И вдруг она сказала:

— Если ты захочешь, тоже сможешь оторваться от земли. Правда, получается не сразу. Тебя ведь что-то мучает? Чего бы ты сейчас хотела больше всего?

Голос Веры Николаевны расслаблял, и в то же время ее слова нацеливал на определенную мысль.

Я снова вспомнила про Борьку, маму, Андрея. Злоба и тошнота в который раз подступили к горлу. Опять увидела вокруг запустение, пыль. Вера Николаевна была зачуханной. Меня охватила брезгливость. Захотелось ей сделать больно. Так же, как некоторое время тому назад, маме. Зачем она демонстрирует превосходство над мамой и Борькой? Ведь она может взлететь, как бы твердо стул не стоял на полу и как бы крепко она на нем не сидела!

Откровенность ей моя нужна! А злость моя ее не устроит?! Чего бы я хотела больше всего?!

— Растерзать маму! — выпалила я.

Вера Николаевна сказала:

— Правда, уже поздно, тебе пора домой, но, если хочешь, я тебе покажу фотографии.

Ее невозмутимость, появившаяся в голосе, обескуражила меня. Вера Николаевна легко, при каждом шаге отрываясь от пола, подошла к самодельному стеллажу из грубых досок. Достала старинный альбом в сафьяновом переплете с металлической застежкой, и села рядом со мной.

На первой странице альбома я увидела фотографию молоденькой женщины. Голова ее была гордо вскинута. Дугообразный разлет бровей на крутом лбу и огромные глаза. Уголки чувственных губ опущены книзу, а ноздри, казалось, вздрагивали от дыхания. Я не отрываясь смотрела на фотографию.

— Это я... в молодости. Влюбленная. Я до сих пор влюблена в него, — тихо проговорила Вера Николаевна и глазами показала на фотографию молодого красноармейца в буденовке. — Это Павел Белов... отец моего сына... Павел так и не увидел ребенка...

Она тяжело вздохнула.

— Толик родился через три месяца после расстрела Белова.

Доверительность тона вызвала странное ощущение. Вера Николаевна говорила со мной как с ровесницей. Я толком не могу объяснить, что почувствовала после ее признания. Не знала, нужен ли мне этот мир.

Вера Николаевна вдруг вышла из-за стола. Открыла крышку патефона, покрутила ручку, поставила пластинку и незнакомый надтреснутый голос заполнил комнату.

— Там вдали за рекой, — вывел певец, — засверкали огни. В небе ясном заря догорала.

Пластинка еще крутилась, когда опять до меня донесся голос Веры Николаевны.

— Эта пластинка и патефон — единственное, что осталось от Павла. Он погиб, сын погиб...

Казалось, Вера Николаевна сама не может понять, как такое случилось.

— Мне Толик наказывал хранить пластинку как зеницу ока, — она была... как бы тебе объяснить... главным для его отца. Толик заводил ее редко, но было страшно, когда он... Павла давно уже оправдали... Толик всегда знал, что отец не виноват. Представь: мальчишка из зажиточной семьи, адвоката, известного чуть ли всей стране, и вдруг комсомолец и бьется в красных войсках с белыми. После гражданской — институт, потом больше десяти лет учитель в школе, я была его ученицей. Тридцать пять лет ему исполнилось — и не стало. Многих тогда не стало.

Что-то незнакомое надвинулось на меня. Кажется, я слышала об этом, но не придавала значения.

— За что его расстреляли?

— Как врага народа.

Я чуть не вскрикнула с удивлением: "Надо же!" — ничего вражьего в лице Веры Николаевны не было: старуха, как старуха, тысячи таких. Наверняка, и Белов был таким же. А вот угораздило стать врагом.

Вера Николаевна продолжала:

— Павел стал нравственной высотой для Толика. Каждый человек в окружающих его людях ищет свою вершину, свой предел, к которому стремится. В таком стремлении как раз и проявляются возможности человеческого духа. Ими он потом может измерять свои поступки и поступки других. Павел очень верил в любовь и человека. Это он передал мне. Понимаешь — главное любить и верить. Тогда и расстрелы не страшны.

Я не совсем понимала о чем так торжественно говорит Вера Николаевна.

Единственное, что я поняла точно, вернее ощутила до конца, что патефон и пластинка — это не блажь Верки-дурочки, а что-то очень ценное, необходимое не только ей. И мне показалось, даже, что если бы у меня был такой патефон с пластинкой, я сумела бы не злиться на маму.

Словно током стукнуло, я вспомнила о Борьке. Меня вернуло в реальность. И опять я почувствовала себя жалкой и ненужной. Я видно, измени-

лась в лице — слезы наворачивавшиеся на глаза, вот-вот могли брызнуть, губы задрожали — потому что Вера Николаевна придвинулась ко мне, одной рукой обняла за плечо, другой едва коснулась щеки и едва слышно произнесла:

— Тебе очень худо. Не с кем поделиться. Правда ведь? Все в себе держать опасно. Я уже говорила, надо найти для себя что-то главное. Чтобы оно было необходимо не только тебе, но и другим. Тогда можно взлететь. Только в это надо очень верить.

— Я беременна. Он не звонит. У мамы свой... Андрей. А без родителей не делают. Мама об этом не знает. Она вообще обо мне знать не хочет.

— И это все?! — сказала Вера Николаевна. — Ребенка родим, никаких аборт. Школу закончим. Мы его воспитаем.

От ее этого "мы" я вдруг ощутила себя сильной. Но тут же подумала, как скажу об этом маме — от такого ее удар хватит.

"Нет, конечно, надо делать аборт", — решила я. Но Вере Николаевне говорить об этом не стала. У меня еще целый месяц в запасе, как раз и каникулы начнутся. А сейчас пора собираться домой.

— Вера Николаевна, я пойду, — проговорила я. — Мне завтра рано в школу вставать.

— Конечно, конечно, — заторопилась Вера Николаевна. — Уже как никак половина первого.

И мама твоя волнуется. Я ей, пока ты умывалась, пыталась дозвониться, объяснить, что ты у меня, но никто не брал трубку.

— Да ничего, она не волнуется. Небось, до сих пор стоит обнявшись. И телефон отключила, чтобы ей никто не мешал.

И вдруг у меня вырвалось:

— Вы не дадите мне на несколько дней патефон и пластинку? Я верну.

— Пожалуйста. Бери. Вот еще запасные иголки, — и она достала из тумбочки пакетик с иголками.

Я взяла патефон, пластинку положила в сумку. Прощаясь с ней у лифта, пообещала, что дня через два забегу после уроков.

Мама открыла дверь и тут же влепила мне звонкую пощечину:

— Я должна всем звонить, разыскивая эту паршивку! — визжала она. — А эта дрянь является в час ночи домой с какой-то рухлядью с помойки. Немедленно выбрось или я тут же разобью!

Не обращая внимания на ее визг, я прошла к себе в комнату, держа в руке патефон. Потом взяла стул и вставила его в ручку двери, отгородилась от мамы. Мама начала барабанить в дверь.

— Сейчас же открой! Слышишь, открой сейчас же!

— Хватит визжать, — крикнула я ей, — весь дом разбудишь!

И мама утихла. Мне вдруг стало ее жалко. Я представила, как она опустилась в кресло, стоящее в холле, обхватила голову руками и зажмурила глаза. Это ее обычная поза, когда она чем-то расстроена. Подойдя к двери, я распахнула ее настежь. Действительно, мама сидела в кресле, обхватив голову руками.

Я вдруг увидела ее слабой и жалкой. На шее от напряжения вздулись синие дорожки вен и кожа на руках не такая гладкая, как прежде. А из глаз бежали и бежали вниз к подбородку черные от туши слезы.

Я прижалась к ней и погладила по плечу.

— Мам, не сердись. Я была в гостях у Ве... у одной женщины. У нее муж враг народа и его расстреляли.

Мама недоуменно подняла на меня уже просохшие глаза:

— О чем ты говоришь? Когда это было! Лучше бы думала, как хорошо учиться! Через год в институт поступать! Надо уже сейчас решать, в какой, и заводить нужные контакты. А у нее, видите ли, враги народа!

— А ты хоть одного видела?

— Да, — произнесла мама, будто вспомнила,
— Андрей обещал помочь нам с репетиторами,

если понадобится. Так что, когда встретишься с отцом, скажи, чтобы тоже принял участие в твоём образовании. Ладно, капуня, — мама с самых ранних лет называет меня так, ей кажется, что я долго копаюсь, когда что-то делаю, — пора ложиться спать. Будем считать, что инцидент исчерпан. А рухлядь все-таки выброси.

— Мне его надо вернуть. Я взяла на время.

— Кстати, чей это патефон?

— Одной женщины. У которой я сегодня была.

— Что еще за дружба? Это что — вместо Борьки? Да, между прочим, он тебе утром звонил. Просил передать, что все будет в порядке.

Я почувствовала, что напряжение с меня сходит.

Три дня в нашем доме царил мир и покой. Не приходил обедать Андрей. Мама была ласкова и добра. И я ощущала, что очень люблю ее, что она самая лучшая из мам. Я даже начала задумываться о том, о чем говорила в ту ночь Вера Николаевна. Как яркий островок, вспыхнула в памяти еще одна ее фраза:

— Я поняла тогда — сердце Павла открыто для добра и любви, — протягивая слова, будто что-то вспоминая, говорила Вера Николаевна, — Павел был необходим другим. Я просто уверена, что такие, как Белов, совершенны во все времена. Всю жизнь старалась об этом помнить. Может

поэтому прожила столь долго. Вот так-то, Танюша, — закончила Вера Николаевна. Она смотрела поверх моей головы, словно опять окуналась в то время.

И вот прошло еще три дня, у нас дома опять скандал. И опять я ненавижу маму. Ну ведь правда мне совсем не до школы. Правда, что у меня болит горло. Правда, что Борька так мне и не показывается.

— Ну что с тобой? — явственно слышу я мамин голос. Какая тебе еще гармония нужна? Не пойму, чего тебе не хватает? Кажется, все есть.

А меня так и подмывает сказать ей, все, что у меня есть, еще недостаточно. Что я очень многого не знаю. Не знаю, что делать — рожать или аборт? Рассказать ей об этом или нет. Может быть, поставить перед свершившимся фактом, когда уже ничего нельзя будет сделать? Мой чердак вот-вот проломится, так его распирает от мыслей. А что, если сказать маме, что мне не хватает умения летать. Господи, наверняка, решит, что я тронутая.

— Так, все-таки, чего тебе не хватает? — кажется, маме самой нравится этот вопрос, она просто заиклилась на нем. И чтобы она отстала, отвечаю:

— Красных австрийских сапог за сто тридцать.

— Тогда ты пойдешь в школу и будешь заниматься?

— Да, тогда пойду в школу и буду заниматься, чтобы репетиторы, найденные Андреем, остались без работы.

— Что ты к нему привязываешься?! Нет, чтобы сказать спасибо, что человек думает о ней, хочет помочь, так еще недовольна!

— Пусть о своих детях думает, им помогает, — я чувствую, что закипаю. Что красные сапоги, с таким трудом почти вырванные у мамы, могут уплыть, но тут раздается телефонный звонок, и мама опрометью бежит к телефону.

"Конечно, — думаю, — это Андрей проверяет, ушла ли я в школу или нет. Не терпится"

Но слышу как мама кричит:

— Танька, это тебя! Борька!

Телефонная трубка чуть не выпрыгивает из моих рук. Я никак ее не ухвачу. Господи, наконец-то, наконец-то он появился! Я чуть не плачу. Еле слышно выговариваю: "Але-е"

— Чувындрик, — раздается в трубке единственный в мире голос.

— Да, — едва выговариваю я.

— Чувындрик, что ты лопочешь? Майн Мутер передала, что ты звонила, разговаривала с ней. Окурок все устроил. Иголку всадят пару раз и

аборт делать не надо. Все само выскочит. Слышь, чувындрик? Сегодня с лекций уйду пораньше. Жду тебя после школы. В скверике под часами. На нашем месте. — Улавливаю, наконец, смысл сказанного.

Я забыла сказать, что Борька заканчивает первый курс института, а Окурок, то есть Витька — медицинское училище. Собирается в институт. Он ведь во всем подражает Борьке. Раз тот в институте, значит, Витька расшибется, а поступит.

— Заметано! — со всей силы кричу в трубку и кладу ее на аппарат.

Мигом побросав учебники в сумку, я напяливаю форму. Затем сполоснув лицо, не позавтракав, бросаюсь к двери. До начала занятий еще двадцать минут, а школа в пятнадцати минутах ходьбы. Надо успеть, а то могут не пустить на урок.

— Когда будешь дома?

Что я могу ответить? Ведь в три меня ждет Борька под часами. Как же я соскучилась за неделю! Конечно сделаю уколы. Раз он считает, что так лучше. Я на все согласна. И тогда никто ничего не узнает. И никому ничего не надо говорить. Напрасно я Верке-дурочке все рассказала. Борька же со мной. И на Андрея наплевать. Пусть его жена, его дети переживают, что он к нам ходит. С такими мыслями я влетаю в класс.

Время тянется еле-еле. Я чуть ли не каждую секунду поглядываю на часы и прикидываю: "В два заканчиваются занятия. Пока дойду — еще двадцать минут. Ну, может быть, еще куда-нибудь на секундочку заскочу. Нет, не буду никуда заскакивать! Посижу в скверике, покурю" Еще вчера у мамы вытянула три сигареты. О том, что я курю, она не знает, а может делает вид, что не догадывается. Дома я не курю. Мне просто очень нравится смотреть, как сизая струйка дыма устремляется вверх.

Наконец, занятия окончены. Я бегу на свидание. Видно, Борька раньше освободился — я издалека вижу его и Витьку-Окурка на троллейбусной остановке возле скверика.

Неожиданно боковым зрением замечаю Веру Николаевну с авоськой в правой руке, из которой свешиваются то ли листья петрушки, то ли морковки. Она еле плетется от овощного магазина к переходу. Опустив голову, никого не видя перед собой, Вера Николаевна то и дело наталкивается на прохожих. Может, о чем-то думает? Никаких чувств ее появление у меня не вызывает.

Борька и Витька, подставив лица солнцу, чему-то улыбаются. Только дорога разъединяет нас. Мне становится так радостно, что, хотя они еще и далеко от меня, я от восторга кричу на всю улицу: "Борька! Борька!" Вот сейчас только дорогу перебегу, еще мгновение.

Борька слышит, его взгляд выхватывает меня из толпы. Я вижу, что он рывком делает движение, чтобы броситься мне навстречу и вдруг спотыкается, что-то ему мешает. Что это? Ведь только что горел зеленый светофор, а уже красный. И рычит, дребезжа тормозами машина. Я не вижу Борьки. В ужасе замираю, закрываю глаза. Но тут же открываю: маленькое женское тело в штапельном платье и знакомых спортивных тапочках с синей каемочкой. Опять зажмуриваю глаза и истошно кричу на всю улицу. Чувствую как сильные Борькины руки крепко прижимают меня к себе. Открываю глаза. Движение остановлено, вокруг двух машин толпа. Но я-то знаю, что там никого быть не может. Вера Николаевна умеет летать. Она, наверняка, перелетела через машину. Встала и ушла.

— Чувындрик, не ходи туда. Не смотри! Не ходи! Не представляю, как она оказалась передо мной. Я было только рванулсЯ и вдруг чувствую — спотыкаюсь, откидываюсь назад...

— Ну все! Бабка приказала долго жить, — раздался рядом с нами истерический смешок Витьки-Окурка. — От морковки только водичка осталась.

— Ладно, заткнись, — тихо сказал Борька, затем, будто решившись, произнес, — стой здесь, а мы с Окурком посмотрим, что там.

— Она улетела, — говорю я.

Борька смотрит на меня как на свихнувшуюся, но ничего не сказав, берет за руку и ведет к дому, который напротив скверика.

— Нет, я все-таки побегу, узнаю, куда ее повезут. Может быть, еще жива, — и Борька устремляется к переходу.

— Да нет ее там! Нет! — кричу вдогонку: я же точно знаю, что она умеет летать.

— Слышала, — вечером говорит мне мама, — наша соседка Верка-дурочка бросилась под машину. Жалко, конечно, старуху, но хоть от ее песни отдохнем.

Ничего не ответив, я иду к себе в комнату, распахиваю настежь окно. Не знаю, как называется то чувство, что я испытываю сейчас. Это не тоска, не горечь, а что-то непонятное и тяжелое, что давит мне сердце. Наверно, вот так бывают инфаркты: то ничего-ничего, то сдавит сердце — и брык!

Я ставлю на подоконник патефон, открываю его, завожу... На весь двор певец выводит песню про юных бойцов из буденовских войск.

Тяжесть не исчезает. Еще чуть-чуть и я разревусь.

— Ишь чего надумала?! — врывается в комнату мама. — Мало было Верки-дурочки, теперь станут говорить Танька-дурочка...

Кикимора

Когда я смотрю на эту кикимору — мне хочется удавиться. До того я ее ненавижу. Ее лицо напоминает мне географическую карту, где в одном и том же поясе нанесены водоразделы великих рек — Волги и Амазонки, со всеми их притоками, большими и малыми. Эти линии бегут вниз к подбородку и дальше в несколько витков опоясывают шею. Под глазами у кикиморы два дряблых мешка сизого цвета от несмытой косметики. Тонкие губы кривятся в ехидной улыбке, обнажая прокуренные зубы, похожие на корявые пеньки, заросшие коричневато-бурым мхом.

— Конечно, — говорит она, — я уже не та, что раньше, но еще ой-ой-ой! Я чувствую себя вишней — ну, может только малость перезрелой. У каждого возраста свой шарм. И хоть я уже не та, что два года назад, когда была фантастически богата — квартира в центре столицы, японский автомобиль, норковое манто, картины, бриллианты и, естественно, лайковые перчатки, я все еще женщина с изюминкой, — тут кикимора натягивает резиновые перчатки на свои с трудом гнущиеся артритные пальцы. Ей пора убирать мою квартиру, квартиру ее новой хозяйки.

— И все равно надо жить и можно еще многое успеть, — продолжает она. Что именно успеть — не говорит, но мне это само собой понятно: когда она произносит эти слова, я представляю себе ее, "малость перезрелую вишню" в ступе, с помелом, спешащую на шабаш ведьм, среди которых она, должно быть, и вправду еще "ой-ой-ой"

Мне с трудом верится, что когда-то она была недурна и богата, благоухала французскими духами и ежедневно любовалась принадлежавшими ей драгоценностями. Сейчас только запах табака и старческой плесени исходит от нее. И вся она какая-то неумытая и непричесанная. Я стараюсь как можно реже смотреть на нее, ибо чувствую: еще мгновение — и я ее удавлю: она утверждает, что бесстрашна, но с начала войны спит в противогазе; уверяет, что принципиальна и честна, но я

знаю, что она бессердечна, как булыжник. Меня бесит лживость ее маленьких светлых глаз в те минуты, когда она бесстыдно лебезит перед людьми, ей ненавистными.

— Господи! — говорю я, — пусть она посмотрит в зеркало. Открой ей глаза, чтобы она увидела себя такой, какая есть!

Я подхожу к зеркалу и вижу свое отражение. На меня смотрит кикимора, на вялых губах которой знакомые слова: "Нет, я еще ой-ой-ой!"

Если вишня перезрела — это уже навсегда. Но нечего унывать. Еще все впереди, и еще многое можно успеть...

